

Иван Гончаров

Фрегат Паллада



Иван Гончаров
Фрегат «Паллада»

«Public Domain»

Гончаров И. А.

Фрегат «Паллада» / И. А. Гончаров — «Public Domain»,

© Гончаров И. А.

© Public Domain

Содержание

ТОМ I	5
I. ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА	5
II. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА	39
III. ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ	56
IV. НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ	70
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Иван Александрович Гончаров

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ТОМ 1

І. ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт. – Фрегат «Паллада». – Море и моряки. – Кают-компания. – Финский залив. – Свежий ветер. – Морская болезнь. – Готланд. – Cholera на фрегате. – Падение человека в море. – Зунд. – Каттегат и Скагеррак. – Немецкое море. – Доггерская банка и Галлоперский маяк. – Покинутое судно. – Рыбаки. – Британский канал и Спитгедский рейд. – Лондон. – Похороны Веллингтона. – Заметки об англичанах и англичанках. – Возвращение в Портсмут. – Житье на «Кемпердоуне». – Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту. – Ожидание попутного ветра на Спитгедском рейде. – Вечер накануне Рождества. – Силуэт англичанина и русского. – Отплытие.

Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии, от 2/14 ноября 1852 года, и второго из Гонконга, именно из мест, где об участии письма заботятся, как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит чрез тысячи рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие, и находит неминуемо того, к кому послано, если только он жив, и так же неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках: лучше вновь написать, если только это нужно...

Вы спрашиваете подробностей моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как, избалованнейший из всех вас городской жизнью, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу, когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом «далеко ехать», боишься пропустить урочный час лечь спать; жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь... И вдруг – на море! «Да как вы там будете ходить – качает?» – спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. «Как ляжете спать, что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?» – сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке.

Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Мариета о море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли жечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. «Там вас капитан на самый верх посадит, – говорили мне друзья и знакомые (отчасти и вы, помните?), – есть не велит давать, на пустой берег высадит». – «За что?» – спрашивал я. «Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено». – «Я все буду делать, как делают там», – кротко отвечал я. «Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни, – говорили другие, – а шум, стукотня какая, запах, крик!» – «Сопьетесь вы там с кругу! – пугали некоторые, – пресная вода там в редкость, все больше ром пьют». – «Ковшами,

я сам видел, я был на корабле», – прибавил кто-то. Одна старушка все грустно качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать «лучше сухим путем кругом света». Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал с ней прощаться. Я изумился: я видался с нею всего раза три в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания, она бы не заметила. «О чем вы плачете?» – спросил я. «Мне жаль вас», – сказала она, отирая слезы. «Жаль потому, что лишний человек все-таки развлечение?» – заметил я. «А вы много сделали для моего развлечения?» – сказала она. Я стал в тупик: о чем же она плачет? «Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда». Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника! «Я понял бы ваши слезы, если б это были слезы зависти, – сказал я, – если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удастся прочесть первую страницу...» Я говорил ей хорошим слогом. «Полноте, – сказала она печально, – я знаю все; но какую цену достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпите, сколько шансов не воротиться!.. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам, – прибавила она, – но я плачу не для вас: мне просто плачется».

Мысль ехать, как хмель, туманила голову, и я беспечно и шуточно отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я все мечтал – и давно мечтал – об этом вояже, может быть с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротиться к ней с другой стороны: мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом от карты и от учительской указки я перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов, я опечалился: что перед их подвигами Гомеровы герои, Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес? Дети!

Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с годами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба.

«Нет, не в Париж хочу, – помните, твердил я вам, – не в Лондон, даже не в Италию, как звучно бы о ней ни пели¹, поэт, – хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень все, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, – туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться».

Все было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к Творцу и любви к Его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разумения указал путь тысячам за собою. «Космос!» Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос.

«Подал бы я, – думалось мне, – доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением». Но и эта мечта улеглась в воображении вслед за многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буд-

¹ А. Н. Майков – примеч. Гончарова.

нями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов.

Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе!

И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света! Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса – и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!

Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду: тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго; подвиг подавлял воображение, силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлогов остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать.

И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. «Куда это? Что я затеял?» И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть все это, променять на что?

Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я – скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я – новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь – певец, хотя *ex officio*, похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина – загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг от прогулок в Петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться... Действительность, как туча, приближалась все грозней и грозней; душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури – все приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частью трогательные, частью смешные, предостережения друзей, но страх нередко и днем и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни; то снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода...

Я просыпался с трепетом, с каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он ни прочен, как ни приспособлен к морю, что он такое? – щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта? Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?

Я справлялся, как мог, с сомнениями: одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь, и я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь, что с загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба и Васко де Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит «в безбрежную даль» океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? «Гостиницы отличные, – отвечает ему, – на Сандвичевых островах найдете все: немецкую колонию, французские отели, английский портер – все, кроме – диких». В Австралии есть кареты и коляски; китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят все по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет; в Африке черные начинают стыдиться своего цвета лица и понемногу привыкают носить белые перчатки.

Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук с старою рухлядью вскрылся – крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европейец роется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку – рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, – пуф, шутка конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания.

Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью.

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этою перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плавателями?

Экспедиция в Японию – не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы тракты, – словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот от сырости; начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как? Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Все, что я говорю, очень важно; путешественнику стыдно заниматься будничным делом: он должен посвящать

себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было, а может быть, и нет.

«Отошлите это в ученое общество, в академию, – говорите вы, – а беседа с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!» Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Все подходит под какой-то прозаический уровень.

Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан – на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан – на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан – в Малайском архипелаге и Китае, наконец, сквозь японцев и американцев – в Японии. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы, не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец величиною? Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными странными нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Все так обыкновенно, все это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там все одинаково, все просто. Два времени года, и то это так говорится, а в самом деле ни одного: зимой жарко, а летом знойно; а у вас там, на «дальнем севере», четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь. Сверх положенных, там в апреле является нежданное лето, морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом, потом вдруг наступит зной, какому позавидуют тропики, и все цветет и благоухает тогда на пять минут под этими страшными лучами. Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любуясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое «чудо», ликует в непривычном зное, и все заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря.

Все однообразно!

И поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты², законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотой, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках.

Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии – на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Все изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца и, после угрюмого, серо-свинцового неба и такого же моря, заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов.

Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря зелени... стояли три знакомые образа в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики,

² В. Г. Бенедиктов и А. Н. Майков – примеч. Гончарова.

повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками, между фесто-нами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: «Rule, Britannia, upon the sea». Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чаю, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

Но довольно делать *pas de geants*³: будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко: если, собираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четверемстам человек – в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и все что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. «Увижу ли я опять эти главы и кресты?» – прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной.

Наконец 7 октября фрегат «Паллада» снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние.

Вскоре все стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздалось командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, «свежим» ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда в море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову.

Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бока судна. Наверху было холодно; косой, мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате, на берегу; иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов: «Пошел все наверх!» Мгновенно все народонаселение фрегата бросилось снизу вверх; отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты (географические: других там нет), разговоры и стремительно побежали туда же. Непри-вычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось и корабль сейчас пойдет на дно. «Зачем это зовут всех наверх?» – спросил я бежавшего мимо меня мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа», – сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в угол. Все суетилось. «Что это такое авральная работа?» – спросил я другого офицера. «Это когда свистят всех наверх», – отвечал он и занялся – авральной работой. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел: делали все то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра: тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину, мне бы следовало так и понять просто, как оно

³ гигантские шаги – фр.

было сказано, – и вся тайна была тут. Авральная работа – значит общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и «свистят наверх»! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют «Все руки вверх!» («All hands up!»). Через пять минут, сделав, что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Крюднер в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему: ноги не повиновались, и он смеялся моим усилиям. «Морских ног нет еще у вас», – сказал он. «А скоро будут?» – спросил я. «Месяца через два, вероятно». Я вздохнул: только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить, как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опроретью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт... «Что это, вас, кажется, травит?» – говорит ему другой. (Травить, вытравливать – значит выпускать понемногу канат.) Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого...

«Выпейте водки», – говорят мне одни. «Нет, лучше лимонного соку», – советуют другие; третьи предлагают луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь все не приходила, и я тревожно похаживал между больными, ожидая – вот-вот начнется. «Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!» – сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно: во все время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в моряках.

Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна, заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света чрез толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение все, что потом привычному глазу кажется удобством: недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы и стулья, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий; груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных, койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего; порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распушенности, как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне, в океане. Но к этой истине я пришел нескоро.

Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем. Можно ли поверить, что в Петербурге есть множество людей, тамошних уроженцев, которые никогда не бывали в Кронштадте оттого, что туда надо ехать морем, именно оттого, зачем бы стоило съездить за тысячу верст, чтобы только испытать этот способ путешествия? Моряки особенно жаловались мне на недостаток любознательности в нашей публике ко всему, что касается моря и флота, и приводили в пример англичан, которые толпами, с женами и детьми, являются на всякий корабль, приходящий в порт. Первая часть упрека совершенно основательна, то есть в недостатке любопытства; что касается до второй, то англичане нам не пример.

У англичан море – их почва: им не по чем ходить больше. Оттого в английском обществе есть множество женщин, которые бывали во всех пяти частях света.

Некоторые постоянно живут в Индии и приезжают видеться с родными в Лондон, как у нас из Тамбова в Москву. Следует ли от этого упрекать наших женщин, что они не бывают в Китае, на мысе Доброй Надежды, в Австралии, или англичанок за то, что они не бывают на Камчатке, на Кавказе, в глубине азиатских степей?

Но не знать петербургскому жителю, что такое палуба, мачта, реи, трюм, трап, где корма, где нос, главные части и принадлежности корабля, – не совсем позволительно, когда под боком стоит флот. Многие оправдываются тем, что они не имеют между моряками знакомых и оттого затрудняются сделать визит на корабль, не зная, как «моряки примут». А примут отлично, как хорошие знакомые; даже самолюбию их будет приятно участие к их делу, и они познакомят вас с ним с радушием и самую изысканною любезностью. Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль, адресуйтесь к командиру, или старшему, или, наконец, к вахтенному (караульному) офицеру с просьбой осмотреть корабль, и если нет «авральной» работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием.

Приехав на фрегат, еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои сложенные в кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольцев – мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили все, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого, коренастого, гладко остриженного матроса. «Вот этот матрос вам назначен в вестовые», – сказал он. Это был Фаддеев, с которым я уже давно познакомил вас. «Честь имею явиться», – сказал он, вытянувшись и оборотившись ко мне не лицом, а грудью: лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы – все это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и «себе на уме» были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. «Помоги моему человеку установить вещи в каюте», – отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема – не спрашивайте как.

Такой ловкости и цепкости, какую обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса все было на своем месте, между прочим и книги, которые он расположил на комод в углу полукружием и перевязал, на случай качки, веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости, и я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек.

«Вы, верно, не обедали, – сказал Болтин, – а мы уже кончили свой обед: не угодно ли закусь?» Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, чрез который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах, со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка, и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но, при сильной качке, и его бросало из стороны в сторону, и чуть было однажды не задавило нашего миньютюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола П. А. Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато все пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке, белье лежало в ящиках, устроенных в постели, книги стояли на полках.

Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно «на авральной работе». Подали холодную закуску. А. А. Болтин угощал меня.

«Извините, горячего у нас ничего нет, – сказал он, – все огни потушены. Порох принимаем». – «Порох? А много его здесь?» – осведомился я с большим участием. «Пудов пятьсот приняли: остается еще принять пудов триста». – «А где он у вас лежит?» – еще с большим участием спросил я. «Да вот здесь, – сказал он, указывая на пол, – под вами». Я немного

приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся «авральная работа» сосредоточена на том, чтобы подложить еще пудов триста. «Это хорошо, что огни потушены», – похвалил я за предусмотрительность. «Помилуйте, что за хорошо: курить нельзя», – сказал другой, входя в каюту. «Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!» – подумал я в ту минуту, а через месяц, когда, во время починки фрегата в Портсмуте, сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя.

К вечеру собрались все: камбуз (печь) запылал; подали чай, ужин – и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми, и вот с тех пор до сей минуты – как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово «чай» у моряков есть только аллегория, под которою надо разуть пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы, потом кончится дело объяснениями в дружбе, даже объятиями, – словом, исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней. Но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили: излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, «а об водке ни полслова!» Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах! «Бывало, сменишься с вахты иззябший и перемокший – да какхватишь стаканов шесть пунша!..» – говорил он. Фаддеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на лежавшие под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. «Барин! – сказал он встревоженным и умоляющим голосом, – не ездите, Христа ради, по морю!» – «Куда?» – «А куда едете: на край света». – «Как же ехать?» – «Матросы сказывали, что сухим путем можно». – «Отчего ж не по морю?» – «Ах, Господи! какие страсти рассказывают. Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит...» – «С рея, – поправил я. – Что ж случилось?» – «В бурю ветром пятнадцать человек в море снесло; насилу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!» Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где «крутит», и когда корабль в эдакую «кручу» попадает, так сейчас вверх килем повернется. «Как же быть-то, – спросил я, – и где такие места есть?» – «Где такие места есть? – повторил он, – штурмана знают, туда не ходят».

Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно – вот что провожало нас из отечества. Ванты и снасти леденели. Матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат, со скрипом и стоном, переваливался с волны на волну; берег, в виду которого шли мы, зарылся в туманах. Вахтенный офицер, в кожаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было деду. Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь.

Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в нем так же безопасно, как на Невском проспекте.

А теперь, в туман, дед, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. «Как же так, – говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим и мне, – по расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты, – ворчал он,

указывая коротеньким пальцем в туман, – да каторжный туман мешает». – «Ах ты, Господи! поди-ка посмотри ты, не увидишь ли?» – говорил он кому-нибудь из матрос. «А это что такое там, как будто стрелка?...» – сказал я. «Где? где?» – живо спросил он.

«Да вон, кажется...» – говорил я, указывая вдаль. «Ах, в самом деле – вон, вон, да, да! Виден, виден! – торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному и бегал то к карте в каюту, то опять наверх. – Виден, вот, вот он, весь виден!» – твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерять и высчитывать узлы.

Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд – камень с крутыми ровными боками, к которым нет никакого приступу кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм – помните «милый Борнгольм» и таинственную, недосказанную легенду Карамзина? Все было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно.

Но дни шли своим чередом и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали – все по свистку, и даже по свистку веселились. Обед – это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые «баками», куда накладывается кушанье из одного общего, или «братского», котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашницу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. «Хлеб да соль», – сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильною приправой луку. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен моцион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареною капустой – любимое матросами и полезное на море блюдо. «Но одно блюдо за обедом – этого мало, – думалось мне, – матросы, пожалуй, голодны будут». – «А много ли вы едите?» – спросил я. «До отвалу, ваше высокоблагородие», – в пять голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку.

Веселились по свистку, сказал я; да, там, где собрано в тесную кучу четыреста человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда:

«Свистать песенников наверх!» И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали: усиленные движения явно разногласили с этою сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг, с тою же угрюмою важностью, пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда.

Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны.

Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато: все серое небо, да желтое море, дождь со снегом или снег с дождем – хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я слег и несколько дней пролежал, закутанный в теплые одеяла, с подвязанною щекой.

Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками, ревматизм мой унялся, и я стал выходить на улицу – так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас: таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день-два – тихо,

как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо.

День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать покойно свою смену. «Пошел все наверх!» – раздаётся и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание: «Поставить брамсели, лиселя», покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно: значит, тихо, покойно. Зато как наостришь уши, когда велют «брать два, три рифа», то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда: все равно после проснешься поневоле.

Заговорив о парусах, кстати скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду.

Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи; взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем, к какому неполному результату приводят все эти хитрости! Нельзя определить срок прибытия парусного судна, нельзя бороться с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель, нельзя поворотить сразу в противную сторону, нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтоб выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до тридцати: на каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил – все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны; а чуть задует в лоб – крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно бы не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки: если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди, человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. «Эдак и пароход не пойдет!» – говорят мне. «Да зато пароход всегда пойдет». Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников; все остальное усвоило пар.

Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов; даже старые переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе розняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.

Мы вошли в Зунд; здесь не выдавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени, несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета; более положительные люди рассуждали о несправедливости зундских пошлин, самые положительные – о необходимости запастись свежей провизией, а все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берегов. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть, и все-таки времени осталось много.

Иногда нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: «Купец наваливается, ваше высокоблагородие!» Книжки, обед – все бросается, бегут наверх; я туда же. В самом деле, купеческое судно, называемое в море коротко купец, для отличия от военного, сбито течением или от неумения править, так и ломит, или на нос, или на корму, того и гляди стукнется, повредит как-нибудь утлегарь, поломает реи – и не перечесть, сколько наделает вреда себе и другим.

Начинается крик, шум, угрозы, с одной стороны по-русски, с другой – энергические ответы и оправдания по-голландски, или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепятся, – и все смолкнет: корабль нем и недвижим опять; только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед.

Завидят ли огни ночью – еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там все принесено в жертву экономии; от этого людей на них мало, рулевой большею частью один: нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни, и если судно не меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело, а тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь.

Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки.

Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то, что читал уже не совсем новое. Это «История кораблекрушений», в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений со всеми последствиями. В. А. Корсаков читал ее и дал мне прочесть «для успокоения воображения», как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди – одни раздавленные пушками, другие утонули...

Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это.

Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает не легко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самохранению, между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишись почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам, в виде остова, и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и расшвыряваемым морем завязывается упорная битва: с одной стороны слепая сила, с другой – отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты: кажется, как бы не погибнуть? Ведь это все равно что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты из запасного дерева – и идут.

Оторвется ли руль: надежда спастись придает изумительное проворство, и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом – и отверстие «засасывается» холстом и не пропускает воду, а между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль.

В Немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было: оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему – на нем ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся водой, и если бы мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть... к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться.

Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!

В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и услышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. «Рыбаки, должно быть», – сказал капитан. «Нет, – возразил отец Аввакум, – слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи: нельзя ли повернуть?» Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время попустому: военным судам разгуливать по морю некогда. «Если это, – ворчал он, – рыбаки кричат, предлагают рыбу... Приготовить брандспойты!» – приказал он вахтенному (брандспойты – пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно.

Подходим ближе – люди протягивают к нам руки, умоляя – купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. «Брандспойты!» – закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов, и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.

Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. «Что ж вы делали десять дней?» – спросите вы. Вам трудно представить себе, когда час езды между Петербургом и Крондштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель – ничего, потому что несколько недель уже есть капитал, который можно употребить в дело, тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь.

Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи.

Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.

Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и все по одной линии. «Где мы?» – спросишь, проснувшись, утром у деда. «В море», – говорит он сердито. «Я знаю это и без вас, – еще сердитее отвечаете вы, – да на каком же месте?» – «Вон, взгляните, разве не видите? Все там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка». – «А теперь куда идем?» – «Куда и вчера ходили: к Доггерской банке». Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбацьи суда. «Ну что, подвигаемся?» – спросите потом вечером у деда, общего оракула. «Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода». – «Да подвигаемся ли вперед?» – спрашиваете вы с нетерпением.

«Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку, – отвечает дед, – уж, чай, и виден!» Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской водой, или не умываться, *ad libitum*. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из систерн каждое утро по кувшину воды мне на умыванье.

«Достал, – говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту, – на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!» (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. «Э! леший, черт, какую затрещину дал!» – сказал он наконец, глядя то спину, то голову. «Кто, за что?» – «Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!» И опять засмеялся.

Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.

Главный надзор за трюмом поручен был П. А. Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распорядился хозяйством кают-компании, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: все это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. «Отчего вы не едите супу?» – спросит он. «Так, не хочется», – отвечают ему. «Нет, вы скажите откровенно», – настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуше всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив.

«Да, право, я не хочу: так что-то...» – «Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста!» Наконец тот решается сказать что-нибудь. «Да, что-то сегодня не вкусен суп...» Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. «А чем он нехорош, позвольте спросить? – вдруг спрашивает он в негодовании, – сам покупал провизию, старался угодить – и вот награда! Чем нехорош суп?» – «Нет, я ничего, право...» – начинает тот. «Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого, – продолжает он, окидывая всех взглядом, – двадцать человек обедают, никто слова не говорит, вы один только... Господа, я спрашиваю вас – чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания, – говорит он со слезами в голосе и с пафосом, – общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожу оказанною мне доверенностью...» – и так продолжает, пока дружно не захохочут все и наконец он сам. Иногда на другом конце заведут стороной, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. «Что вы там шепчете, позвольте спросить?» – строго спросит он. «Вам что за дело?» – «Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться...» Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.

Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений.

«Витул, Витул! – томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. – Я так устал сегодня: раздень меня да уложи». Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. «Завтра на вахту рано вставать, – говорит он, вздыхая, – подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!» Вот к нему-то я и обратился с просьбою, нельзя ли мне отпустить по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. «Вы знаете, – начал он, взяв меня за руки, – как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?» – настойчиво допытывался он. «Нет», – с чувством подтвердил я, в надежде, что он станет давать мне пресную воду. «Поверьте, – продолжал он, – что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?» – «Да», – уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. «Верьте этому, – продолжал он, – но мне больно, совестно, я готов – ах, Боже мой! зачем это... Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу... (и он пролил поток синонимов). Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел хоть малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь...» И повторил свой монолог. «Ну, нечего делать: le devoir avant tout, – сказал я, – я не думал, что это так строго». Но ему жаль было отказать совсем. «Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько», – сказал он. «Да». – «Так я его за это на бак отправлю». – «Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем, – заметил я, – вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права...» – «Правда, правда, нет, это я так... Знаете что, – перебил он, – пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради Бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день...» – «А если Терентьев скажет вам, или вы сами поймаете, тогда...» – «Отправлю на бак!» – со вздохом прибавил Петр Александрович.

Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в

пять после обеда на палубу – и вдруг близехонько увидел длинный, скалистый берег и пустые зеленые равнины.

Я взглядом спросил кого-то: что это? «Англия», – отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для прохода фрегата по каналу.

Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. «Что это такое?» – спросил я лоцмана. «Dover», – каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде, между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.

Июнь 1854 года.

На шкуне «Восток», в Татарском проливе.

* * *

Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии, в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести все в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции – стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях.

ПИСЬМО 1-е

20 ноября / 2 декабря 1852 года.

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якорю в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен: все это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус все, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: все это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках, на том основании, на каком скуная мать отказывает в деньгах выделенному сыну.

Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни «безмолвного», ни «лазурного» моря и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать: «Не знаю», а потом, подумав, скажу: «А зачем бы я остался?» Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через две недели уеду

из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла, «домашнего очага», как говорили в старых романах? Тот уезжает, у кого есть все это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках «с ближним»! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму: бури, лишения, опасности, ужас, может быть, отчаяние, наконец следует смерть, которая везде следует; здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли: я имел причины ехать или не имел причины оставаться – все равно. Теперь нужно только спросить: к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их? Вот к этому я не могу прибрать ключа; не знаю, что будет дальше: может быть, он найдется сам собою.

Поэтому я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря «о петербургской станции», умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтоб удержать человека на месте.

Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели: кровь и нервы; оттого и боль в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании.

Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определенного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым собственно не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет – вроде прихода-расходной памятной книжки – своим заслугам и заслугам друга; справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики; все еще ищут, нет ли чего вроде пиладова подвига, ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят: «Это истинный друг», даже выставляют цифру XV, XX, XXX-летний друг и таким образом жалуют друг другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про «неистинного» друга говорят: «Этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле». Это у многих называется «бескорыстной» дружбой.

Что это, проклятие дружбы? непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже меня сохрани! Я только исключил бы слово «обязанности» из чувства дружбы, да и слово «дружба» – тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за дружба такая, что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выру-

чит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и, наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза.

Декабрь. Лондон.

Как я обрадовался вашим письмам – и обрадовался бескорыстно! в них нет ни одной новости, и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться; даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам – не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии?

Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень... не знаю, что сказать о нем: скажу – бесполезен, что церковь Св. Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и т. д. Не надо этого: не правда ли, вы все это знаете?

Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: «Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало общительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко, и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща». Это описание достойно времен кошихинских, скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.

Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на «Кемпердоун» – старый корабль, стоящий в порте праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.

Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напивается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы «втягивались» в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что везут с невероятною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писанные. Погода странная – декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнет холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить.

Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи – нельзя рассмотреть с дороги – какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажать сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами.

Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемая меркуриевым жезлом!

Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющей путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изыщными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц движется муравейник.

Но вот я наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовую неподвижностью в вагоне и получасовую ездой в кебе по городу, водворен в доме, в квартире.

На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стороне, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но decorum печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки – сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было – не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь Св. Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычною жизнью.

Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничнейший день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и «осматривать», а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности; не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с гидом в руках, по столько-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

Вообще большая ошибка – стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали ниневийские древности, этрусские, египетские и другие залы, потом змей, рыб, насекомых – почти все то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадриде. А между тем времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло все на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей.

Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во все, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смот-

реть их походку или какую-то иноходь, и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или, по крайней мере, холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемой ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемее, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку.

В тавернах, в театрах – везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым волей-неволей должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь как о редкости возвещают крупными буквами на окнах магазинов: «Ici on parle français». Да, путешествовать с наслаждением и с пользой – значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это взгляды, вдумывание в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою.

Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такою благородною забавою, в которой нехотя чему-нибудь да научишься! Вот Regent-street, Oxford-street, Trafalgar-place – не живые ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?..

Воля ваша, как кто ни расположен только забавляться, а, бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя.

Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее: на Вестминстерское аббатство, и был счастливее в это утро. Такие народные памятники – те же страницы истории, но тесно связанные с текущею жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю, – оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразили готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими, при звуках великолепного органа.

Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти недышащая толпа молящихся – все это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.

Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников и, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве «Снятие со креста» Рембрандта да два-три пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро, с девяти часов до шести, промелькнет – не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное: машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образец воздухоплавания, движения разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный

глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того: тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса, с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии: карты, книги, начиная с младенческих времен географии, с аравитян, римлян, греков, карты от Марко Паоло до наших времен. Есть библиографические редкости.

Самый Британский музей, о котором я так неблагоприятно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет Божий, смотреть все живое, – он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланер, зевака, почерпнет какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом? И сколько таких заведений по всем частям, и почти даром! Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музее, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он «царь творения» – и все это за шиллинг.

Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины: многие из них тоже своего рода музеи – товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. «Кто и где покупатели?» – спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шехеразада покажется детской сказкой. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены; и если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами, и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно, это у меня есть и т. д.

Купишь книгу, которой не прочтешь, пару пистолетов, без надежды стрелять из них, фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении, сигарочницу, палку с кинжалом и т. п. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этой дешевизне!

К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом, и почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег, – так мне советовали делать; да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда, без этой предосторожности, заплатить вторично. Я бы, вдобавок к этому, посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает, кажется, цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, он исподтишка шипел на жену все время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто спросят четыре фунта, а рядом, из той же материи, – семь.

Лондон – поучительный и занимательный город, повторю я, но занимательный только утром. Вечером он для иностранца – тюрьма, особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа – нравы; но для этого надо слиться и с домашнею жизнью англичан, а это нелегко. С шести часов Лондон начинает обедать и обедает до 10, до 11, до

12 часов, смотря по состоянию и образу жизни, потом спит. Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А собственно англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на сто, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мяса, живность, дичь и овощи – все это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою.

Что касается до национальных английских кушаньев, например пудинга, то я где ни спрашивал, нигде не было готового: надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду, – я говорю о пломпудинге. Все мяса, рыба отличного качества, и все почти подаются *au naturel*, с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а впрочем, очень хорошо и дешево: был бы здоровый желудок; но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу поговорку: не красна изба углами, а красна пирогами, если б у них были пироги, а то нет; пирожное они подают, кажется, в подражание другим: это стереотипный яблочный пирог да яичница с вареньем и крем без сахара или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны: голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы; но опрятность доведена до роскоши: она превышает необходимость. Особенно в белье; скатерти – ослепительной белизны, а салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам подадут салфетку только по настойчивому требованию – и то не везде. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем салфетка? – говорят англичане, – руки вытирать? да они не должны быть выпачканы», так же как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее двухсот человек за столом не было. В одной из них, *divan-tavern*, хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне, может быть – все от этого. Пример не для одних трактирщиков!

Итак, из храма в храм, из музея в музей – время проходило неприметно.

И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей; подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто – холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.

Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например высиживание цыплят парами, неотпираемые американские замки и т. п. Глядя, как англичане возятся с своим умершим дюком вот уж третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать – что вы думаете? мостки, построенные в церкви Св. Павла по случаю похорон! От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви: я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтоб не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоо: я думаю, снимут панораму и с мостков. «Не на похороны ли дюка приехали вы?» – спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Yes, o yes!» –

сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка, оттого (к стыду моему) был холоден к его кончине, даже еще (прости мне, Господи!) подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками, осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я порицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона – о нет! я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал: «No use, no use (Не ходит)!» Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, – это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим в банке, какой-то тоже неотпираемый замок; по крайней мере он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его – и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок – неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены; а пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкапулов, ценой от 10 ф. стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляциею народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? – жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последняя не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон – первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей.

Ахнешь от изумления, но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не заезаётся. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет.

Дурно одетых людей – тоже не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в щелях отдаленных кварталов; большая часть одеты со вкусом и нарядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый – Бритт. Я бреюсь через день, и оттого слуги в тавернах не прежде начинают уважать меня, как когда, после обеда, дам им шиллинг. Вы, Николай Аполлонович, с своею инвалидною бородой были бы здесь невозможны: вам, как только бы вы вышли на

улицу, непременно подадут милостыню. Улицы похожи на великолепные гостиные, наполненные одними господами. Так называемого простого или, еще хуже, «черного» народа не видать, потому что он здесь – не черный: мужик в плисовой куртке и панталонах, в белой рубашке вовсе не покажется мужиком.

Даже иная рабочая лошадь так тихо и важно выступает, как барин.

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств – простирается даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто «в гробе тьмы людей», по выражению Пушкина.

Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно настоят надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. Они ответят на дельный вопрос, сообщат вам сведение, в котором нуждаетесь, укажут дорогу и т. п., но не будут довольны, если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напротив, любят это. Я не видел, чтобы в вагоне, на пароходе один взял, даже попросил, у другого праздную лежащую около газету, дотронулся бы до чужого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомыми нетерпимы. Зато никто не запоеет, не засвистит около вас, не положит ногу на вашу скамью или стул.

Есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей.

Французы и здесь выказывают неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты. Слуга-француз протянет руку за шиллингом, едва скажет «merci», и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин все это делает.

Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию: того и гляди, назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтоб потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям! Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь – как расписные паркетные. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый Божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели; от этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности – причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии: он никогда не прочел ни одной книги по этой части; не заговаривайте с ним и о естественных науках, ни о чем, кроме инженерной части, – он покажется так жалко ограничен... а между тем под этою ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно покажется «универсально» образованному человеку разговаривать с ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение.

Все бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть кото-

рого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом для той провинции или колонии добыто столько-то правосудия или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно, на это употреблено тьма чести, правосудия; везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует: независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой: вот там-то машина общего движения оказывается неприложимою к мелким, индивидуальным размерам и колеса ее вертятся на воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многи и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовою школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч; даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запираць замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше: вот какие двигатели поддерживают добродетель в обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, а от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаетесь над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!

Но, может быть, это все равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым – даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно? Не все ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? – можно бы спросить...

Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии, от дюка Веллингтона до высиживаемых парами цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно – не хочется, а наблюсти их глубже и пристальнее – не было времени. И где было наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видал женщин в церквах, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только – и то для того, чтоб избежать предполагаемого упрека, – что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок по этим рыжим господам и господам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток, особенно гувернанток: это оборыши; красивой женщине незачем бежать из Англии: красота – капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод не имеет никакой цены, если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком там не важность: остается уехать в Россию. Англичанки большею частью высоки ростом, стройны, но немного горды и

спокойны, – по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные брюнетки, то есть с черными как смоль волосами и глазами, и в то же время с необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица – фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожей, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте: я уже сказал, что все, начиная с человека, породисто и красиво в Англии.

Мужчины подходят почти под те же разряды, по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступе.

Кажется, женщины в Англии – единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь и, если и бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби, то не более, как в других местах.

Перед ними курится постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает, с макинтошем и зонтиком, и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина; там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом и делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь! Этого я не видал: я не проникал в семейства и знаю только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим по тому, что англичанин, когда хочет познакомиться с вами покороче, оказать особенное внимание, зовет вас к себе, в свое святилище, обедать: больше уж он сделать не в состоянии.

Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки: после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. В театрах видел я благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты для маленького, дрянного театра, в котором показывали диораму восхождения на Монблан: все – декольте, в белых мантильях, с цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на балюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и т. п. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят: «Yes, sir, no, sir». Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом, да о портсмутских дамах, продающих всякую всячину; но и те и другие такие же, как у нас. О последних можно разве сказать, что они отличаются такую рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостаток, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это самих англичан.

Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную возможность рассматривать ноги.

31 декабря 1852 г.

Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма все из одного места.

Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью все, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне «отвалить» из отечества. Вот и теперь лениво выезжаем из

Англии. Мы уж «вытянулись» на рейд: подуй N или NO, и в полчаса мы поднимем крылья и вступим в океан, да он не готов, видно, принять нас; он как будто углаживает нам путь восточными ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате; нас пятьсот человек: это уголок России. Берег верстах в трех; впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена, сбоку у ней тянется песчаная мель, сзади нас зеленеет Вайт, а затем все море с сотней разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, попутного ветра. У нас об Англии помину нет; мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте – так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Вайту или от Вайта в Портсмут.

24-го, в сочельник, съехал я на берег утром: было сносно; но когда поехал оттуда... ах, какой вечер! как надолго останется он в памяти! Сделав некоторые покупки, я в пристани Albertpier взял английскую шлюпку и отправился назад домой. Пока ехали в гавани, за стенами, казалось покойно, но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к этому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. Гребцы мои, англичане, не знали, где поместился наш фрегат. «Вечером два огня будут на гафеле», – сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов, и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтоб ее не сдуло в море, а другую прятал – то за пазуху, то в карманы от холода. Гребцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя.

Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз, валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволокло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов: «Russian frigate?» – спрашивают мои гребцы. «No», – пронзительно доносится до нас по ветру. Дальше, к другому: «Nein», – отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами двадцать четвертые декабря; живо себе воображал, что у вас в зале и светло, и тепло и что я бы теперь сидел там с тем, с другим, с той, другой... «А вот что около меня!» – добавил я, боязливо и вопросительно поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то вдаль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате? Наконец добрался и застал всеобщую накануне Рождества.

Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространства; что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни; что в три года может случиться много такого, чего не выживешь в шестьдесят лет жизни, особенно нашей русской жизни!

Каким испытаниям подвергается избалованная нервозность вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим! Все противоположно прежнему: воздух вместо толстых стен, пропасть вместо фундамента, свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка ото рта. «Не шуми, сиди смирно!» – беспрестанно раздается в обыкновенном порядке береговой стражи. «Шуми, стучи и двигайся!» – твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. «Зачем, мол, вы не наденете пальто?» – «Для примера команде», – говорит. И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване, в теплой комнате, отступлением от разума, – здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются, а ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонения или в местную истину, хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитание, выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего: ко всему можно притерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже нескоро потом отделаюсь я от привычек, которые наложит на меня морской быт, по возвраще-

нии на берег. Мне будет казаться, что мебель надо «принайттовить», окна не закрыть ставнями, а «задраить», при свежем ветре буду ждать, что «засвистят всех наверх рифы брать».

Сколько благ сулил я себе в вояже и сколько уж их не осуществилось!

Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени: русскую, которую уже пережил, английскую переживаю, в тропики придем в тамошнюю осень. А бестолочь какая: празднуешь два Рождества, русское и английское, два Новые года, два Крещенья. В английское Рождество была крайняя нужда в работе – своих рук не доставало: англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше Рождество англичане пришли, да совестно было заставлять работать своих.

Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах, но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке, с четырьмя товарищами. Один – невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков; ни во что не мешается, ни весел, ни печален; ни от чего ему ни больно, ни холодно; на все согласен, что предложат другие; со всеми ласков до дружества, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни повези, ему все равно: он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнает днем позже других: кажется, для него выдумали слово «покладнуй».

Другой, с которым я чаще всего беседую, очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек; но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться к несвойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не даетглохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти – есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много по крайней мере наружного гуманизета.

Мы мирно жили еще с неделю, по возвращении из Лондона в Портсмут, на «Кемпердоуне» большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам ступенчатого старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в восемь часов, от пушечного выстрела с «Экселента», другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких саженях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились: офицеры в адмиралтейство на фрегат к работам, мы, не офицеры, или занимались дома, или шли за покупками, гулять, кто в Портсмут, кто в Портси, кто в Саутси или в Госпорт – это названия четырех городов, связанных вместе и составляющих Портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и Портсмут – торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами, с таможенной. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси – чистый квартал, где главные церкви и большие дома; там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собою стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового паромы, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте тоже есть магазины, но уже второстепенные, фруктовые лавки, очень хорошая гостиница «Indian Arms», где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и

нескольких переулков. Саутси – из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси, связанные вместе, имеют несколько улиц. Дома, магазины, торговля, народ – все как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полуднее.

Потом часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь «отдохнуть».

В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фаддеева, чтоб отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуска не давал, не уступал дороги.

Если толкнут его, он не преминет ответить кулаком, или задирает ребятишек.

Он внес на чужие берега свой костромской элемент и не разбавил его ни каплей чужого. На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением.

«Сволочь эти асеу!» (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи – «I say» («Я говорю, послушай»)). Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон и потому с голыми коленками! «Королева рассердилась: штанов не дала», – говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой «английской кожей» и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение, и то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам по поручению и сам отправился со мной. Но Боже мой! каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом!

Какое счастье, что они не понимали друг друга! Но по одному лицу, по голосу Фаддеева можно было догадываться, что он третирует купца en canaille, как какого-нибудь продавца баранок в Чухломе. «Врешь, не то показываешь, – говорил он, швыряя штуку материи. – Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, которой отрезал Терентьеву да Кузьмину». Купец подавал другой кусок. «Не то, сволочь, говорят тебе!» И все в этом роде.

Однажды в Портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. «Чему ты радуешься?» – спросил я. «Мотыгин... Мотыгин...» – твердил он, смеясь. (Мотыгин – это друг его, худошавый, рябой матрос.) «Ну, что ж Мотыгин?» – «С берега воротился...» – «Ну?» – «Позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу?» Но я забыл об этом и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаз. «Что с тобой? отчего пятно?» – спросил я. Матросы захохотали; пуще всех радовался Фаддеев.

Наконец объяснилось, что Мотыгин вздумал «поиграть» с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно что поиграть с волчицей в лесу: она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца: оттого эта волчья ласка была для Мотыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фаддеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу Мотыгина уже пожелтело.

Наконец нам объявили, чтоб мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха: баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы; люди перетаскивали все наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к «Кемпердоуну». Среди этой давки, шума, суеты вдруг протискался сквозь толпу к капитану П. А. Тихменев, наш застольный хозяин. «Иван Семенович, ради Бога, – поспешно говорил он, – позвольте шлюпку, теперь же, сию минуту...» – «Зачем, куда? шлюпки все заняты, – вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?» – «Курица выскочила, когда переносили курятник, и уплыла. Вон она-с, вон как бьется: ради Бога, пожалуйста шлюпку; сейчас утонет. Извольте войти в мое положение: офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал...» Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку.

Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд, стоим здесь и ждем погоды.

Каждый день прощаюсь я с здешними берегами, поверяю свои впечатления, как скупой поверяет втихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь все дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам...

Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть.

Замечу, между прочим, что все здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить! Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в pendant к вопросу о том, «достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники» – поставить вопрос, «удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?» Новейший англичанин не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга: это варварство, отсталость, и притом слуги дороги в Лондоне.

Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки и надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе, с помощью пара же, в три секунды бифштекс или котлету и запивает чаем, потом принимается за газету. Это тоже удобство – одолеть лист «Times» или «Herald»: иначе он будет глух и нем целый день.

Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня, справляется, что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки: припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним отворяются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он все сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстухе, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плавает по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке! В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка.

Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает.

Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля, скрывает от меня этот образ. Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками, и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон – и все напрасно. Хозяин мирно поживает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего – и все почивал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не

стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном – и барин проснулся, обливаясь потом. Он побранил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили, что солнце уж высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. «Что вы нейдете сюда?» – ласково говорит ему голос из другой комнаты. «Да вот одного сапога не найду, – отвечает он, шаря ногой под кроватью, – и панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?» Справляются насчет Егорки и узнают, что он отправился рыбу ловить бреднем в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут не спеша за Егоркой на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичьей, барин мается, сидя на постеле с одним сапогом в руках, и сокрушается об отсутствии другого. Но все приведено в порядок: сапог еще с вечера затащила в угол под диван Мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где второпях забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле. Сильно бы вымыли ему голову, но Егорка принес к обеду целую корзину карасей, сотни две раков да еще барчонку сделал дудочку из камыша, а барышне достал два водяных цветка, за которыми, чуть не с опасностью жизни, лазил по горло в воду на средину пруда. Напившись чаю, приступают к завтраку: подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготовят манный суп – всякому найдут что-нибудь по вкусу. Наступает время деятельности. Барину по городам ездить не нужно: он ездит в город только на ярмарку раз в год да на выборы: и то и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого в тот день: нет ли именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом, и целый дом запасается новостями надолго. Пора по работам; пришел приказчик – в третий раз.

«Что скажешь, Прохор?» – говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит; он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставив одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль. «Сколько чего?» – спрашивает барин, готовясь класть на счетах.

«Овса в город отпущено на прошлой неделе семьдесят...» – хочется сказать – пять четвертей. «Семьдесят девять», – договаривает барин и кладет на счетах. «Семьдесят девять, – мрачно повторяет приказчик и думает: – Экая память-то мужицкая, а еще барин! сосед-то барин, слышь, ничего не помнит...»

– А наведывались купцы о хлебе? – вдруг спросил барин, подняв очки на лоб и взглянув на приказчика.

– Был один вчера.

– Ну?

– Дешево дает.

– Однако?

– Два рубля.

– С гривной? – спросил барин.

Молчит приказчик: купец, точно, с гривной давал. Да как же барин-то узнал? ведь он не видел купца! Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело.

– Что ж ты не скажешь? – вопрошает барин.

– Он обещал побывать опять, – говорит приказчик.

– Знаю, – говорит барин.

«Как знает? – думал приказчик, – ведь купец не обещал...»

– Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне, и ты приди, и мещанин будет.

Приказчик все мрачней и мрачней.

– Слушаю-с, – говорит он сквозь зубы.

Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля, в прошлом дешевле, а Иван Иваныч по три с четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да спросит, то напишет кто-нибудь из города, а не то так, видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит. И шелкают они на счетах с приказчиком иногда все утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил.

– Ну, что еще? – спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно. «Кто-то едет?» – сказал он, и приказчик взглянул. «Иван Петрович, – говорит приказчик, – в двух колясках».

– А! – радостно восклицает барин, отодвигая счеты. – Ну, ступай; ужо вечером как-нибудь улучим минуту да сосчитаемся. А теперь пошли-ка Антипку с Мишкой на болото да в лес десятков пять дичи к обеду наколотить: видишь, дорогие гости приехали!

Завтрак снова является на столе, после завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня с женой, с детьми, и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей: все это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович дальний родня ему по жене: не приехать же ему за пятьдесят верст – только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда.

– Пообедав вчера, выехали мы, благословясь, около вечера, спешили засветло проехать Волчий Вражек, а остальные пятнадцать верст ехали в темноте – зги Божией не видать! Ночью поднялась гроза, страсть какая – Боже упаси! Какие яровые у Василья Степаныча, видели?

– Как же, нарочно ездил. Слышали, уж он запродавал хлеб. А каковы овсы у вас?

И пошла беседа на три дня.

Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга. В этой прогулке уместились три английские города, биржа. Хозяин осмотрел каждый уголок; нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический, ужин такой же. Потом, забыв вынуть ключи их тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей ни приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит Мимишка под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах.

Что же? среди этой деятельной лени и ленивой деятельности нет и помина о бедных, о благотворительных обществах, нет заботливой руки, которая бы...

Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние. Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: «Сотворите святую милостыню». Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом, отодвигается, высовывается обнаженная загорелая рука с краюхой хлеба. «Прими, Христа ради!» – говорит голос.

Краюха падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий, крестьясь, идет к следующей избе: тот же стук, те же слова и такая же краюха падает в суму. И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: «Прими, Христа ради», загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную суму.

А барин, стало быть, живет в себя, «в свое брюхо», как говорят в той стороне? Стало быть, он никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного, не брызнет слеза на отекавшие от сна щеки? И когда он считает барыши за не сжатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение, поддержать соседа? Нет, не отделяет

в уме ни копейки, а отделит разве столько-то четвертей ржи, овса, гречихи, да того-сего, да с скотного двора телят, поросят, гусей, да меду с ульев, да гороху, моркови, грибов, да всего, чтоб к Рождеству послать столько-то четвертей родне, «седьмой воде на киселе», за сто верст, куда уж он посылает десять лет этот оброк, столько-то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшейся после погорелого соседа, взятой еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к Пасхе, столько-то раздать у себя в деревне старым слугам, живущим на пенсии, а их много, да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостиной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают «привычные места»! Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И Боже сохрани попрекнуть их «куском»! Они почтительны и к хозяевам, и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг: один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча; одна из старушек надела ее опять на плечо да тут же кстати поправила бантик на чепце. Спросишь, кто это такие? Про старушку скажут, что это одна «вдова», пожалуй, назовут Настасьей Тихоновной, фамилию она почти забыла, а другие и подавно: она не нужна ей больше. Прибавят только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка, какого-нибудь Кузьму Петровича, скажут, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает внаем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам «живет в людях».

И многие годы проходят так, и многие сотни уходят «куда-то» у барина, хотя денег, по-видимому, не бросают. Даже барыня, исполняя евангельскую заповедь и проходя сквозь бесконечный ряд нищих от обедни, тратит на это всего каких-нибудь рублей десять в год. Вот на выборах, в городе, оно заметно, куда деньги идут. Кончились выборы: предводитель берет лист бумаги и говорит: «Заклучимте, милостивые государи, наши заседания посильным пожертвованием в пользу бедных нашей губернии да на школы, на больницы», – и пишет двести, триста рублей. А наш барин думал, что, купив жене два платья, мантилью, несколько чепцов, да вина, сахару, чаю и кофе на год, он уже может закрыть бумажник, в котором опочил изрядный запасный капиталец, годичная экономия. А вот тут вынимается сто рублей: стыдно же написать при всех двадцать пять, даже пятьдесят, когда Осип Осипыч и Михайло Михайлыч написали по сту. «Теперь, кажется, все», – думает он. Вдруг у губернатора вечером губернаторша сама раздает гостям какие-то билеты. Что это такое? Билеты на лотерею с балом, спектаклем в пользу погоревших семейств. Губернаторша уж двоих упрекнула в скупости, и они поспешно взяли еще по несколько билетов. За этим некуда уже тратить денег, только вот остался иностранец, который приехал учить гимнастике, да ему не повезло, а в числе гимнастических упражнений у него нет такой штуки, как выбираться из чужого города без денег, и он не знает, что делать. Дворяне сложились помочь ему добраться домой; недостает ста рублей: поглядывают на нашего барина... И вот к концу года выходит вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню... Не по машинке считал!

Но... однако... что вы скажете, друзья мои, прочитав это... эту... это письмо из Англии? куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что я... не выезжал... Виноват: перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия – это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!

Прощайте: мы уже снялись с якоря, но не совсем удачно. Начались шквалы: шквалы – это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами, вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются, по обыкновению поздно, затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель, на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса, и вот третьи сутки мы лавируем в канале, где дорога неширока: того и гляди прижмет к французскому берегу, а там мели да мели.

Английский лоцман соснет немного ночью, а остальное время стоит у руля, следит зорко за каждой струей, он и в туман бросает лот и по грунту распознает место. Всего хуже встречные суда, а их тут множество.

Вы уже знаете, что мы идем не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив, оттуда к Филиппинским островам и, наконец, в Китай и Японию. Пробыв долго в Англии, мы не успели бы обогнуть до марта Горн. А в марте, то есть в равноденствие, там господствуют свирепые восточные и, следовательно, нам противные ветры. А от мыса Доброй Надежды они будут нам попутные. В Индейских морях бывают, правда, ураганы, но бывают, следовательно могут и не быть, а противные ветры у Горна непременно будут. Это напоминает немного сказку об Иване-царевиче, в которой на перекрестке стоит столб с надписью: «Если поедешь направо, волки коня съедят, налево – самого съедят, а прямо – дороги нет». Обратный путь предполагается кругом Америки. И обо всем этом толкуют здесь гораздо меньше, нежели, бывало, при сборах в Павловск или Парголово. А хотите ли знать расстояния? От Англии до Азорских островов, например, 2250 морских миль (миля – 13/4 версты), оттуда до экватора 1020 миль, от экватора до мыса Доброй Надежды 3180 миль, а от мыса Доброй Надежды до Зондского пролива 5400 миль, всего около двадцати тысяч верст. Скучно считать, лучше проехать! До вечера.

11 января.

До вечера: как не до вечера! Только на третий день после того вечера мог я взяться за перо. Теперь вижу, что адмирал был прав, зачеркнув в одной бумаге, в которой предписывалось шкуне соединиться с фрегатом, слово «непременно». «На море непременно не бывает», – сказал он. «На парусных судах», – подумал я. Фрегат рылся носом в волнах и ложился попеременно на тот и другой бок. Ветер шумел, как в лесу, и только теперь смолкает.

Сегодня, 11-го января, утро ясное, море стихает. Виден Эддистонский маяк и гладкий, безотрадный утес Лизарда. Прощайте, прощайте! Мы у порога в океан.

Когда услышите вой ветра с запада, помните, что это только слабое эхо того зефира, который треплет нас, а задует с востока, от вас, пошлите мне поклон – дойдет. Но уж пристал к борту бот, на который ссаживают лоцмана. Спешу запечатать письмо. Еще последнее «прости»! Увидимся ли? В путешествии, или походе, как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня – надежда воротиться.

Январь 1853 года.

Британский канал.

II. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

Выход в океан. – Крепкий ветер и качка. – Прибытие на Мадеру. – Город Фунчал. – Прогулка на гору. – Обед у консула. – Отплытие.

С 6 по 18 января 1853.

Кончено, я решительно путешествую. Я все ждал перемены, препятствия; мне казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше: поэтому нерешительно делал в Англии приготовления к отъезду, не запасал многого, что нужно для дальнего вояжа, и взял кое-что, годное больше для житья на берегу. Но вот океан: переступишь за его порог – и возврата нет! Я из Англии писал вам, как мы плавали по каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо суток. Письмо это, со многими другими, взял английский лоцман, который провожал нас по каналу и потом съехал на рыбацьем боте у самого Лизарда. 11-го января ветер утих, погода разгулялась, море улеглось и немножко посинело, а то все было до крайности серо, мутно; только волны, поднимаясь, показывали свои аквамаринные верхушки. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, башня Эддистонского маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с моря хлещет, говорят, в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь и теперь зажигает опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот и Лизард, пустой, голый и гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается светлая площадь океана.

Все были наверху, пока ссаживали лоцмана. Я, прислонившись к шпилью, смотрел на океан и о чем-то задумался. Вдруг меня кто-то схватил за руку, стиснул ее и начал неистово трясти. Что за штука? А! Это лоцман прощается. Смотрю: лакированная шляпа и синяя куртка пошли дальше, обходя всех таким же порядком. Всякого молча схватит за руку, точно укусит, кивнет головой и потом к следующему. Я дал ему письмо, которое уже у меня было готово, он схватил и опустил его в карман, кивнув тоже головой. Какой карман! Я успел бросить туда взгляд: точно колодезь! Там лежало писем тридцать, но они едва покрывали дно. Мы быстро подвигались к океану. «Дедушка! – спросил кто-то нашего Александра Антоновича, – когда же будем в океане?» – «Мы теперь в нем», – отвечал он. «Так уж из канала вышли?» – спросил другой, глядя по обеим сторонам канала. «Нет еще: ведь это канал и есть, где мы». – «Кто же вас разберет», – отвечали ему недовольные. «Положите метку, – сказал дедушка, – когда назад пойдем, так я вам и скажу, где кончится канал и где начало океана... Смотрите, смотрите!» – сказал он мне, указывая на море. «Что такое?» – спросил я, глядя во все стороны. «Неужели не видите? Да вот, смотрите: не дальше кабельтова от нас». Смотрю: то там, то сям брызнет из воды тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять. «Не может быть, чтоб здесь были киты!» – сказал я. «Не настоящие киты, а мелочь из их породы», – заметил дед.

Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов знал, что он «безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим», а учитель географии сказал некогда, что он просто – Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. «Какой же он в самом деле? – думал я, поглядывая кругом. – Что таится в этом неизмеренном омуте? Чем океан угостит пловцов?..» Он был покоен: по нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу; страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренное волнение так ласково манили дальше, а там... «Где же он неукротим? – думал я опять, – на старческом лице ни одной морщинки! Небозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве обра-

зует дугу, закрывающую даль». «Могуч, мрачен – гм! посмотрим», и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фаддеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. «Что ты?» – «Поди, ваше высокоблагородие, обедать, я давно зову тебя, да не слышишь». Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться.

За столом дед сидел подле меня и был очень весел; он даже предложил мне выпить вместе рюмку вина по случаю вступления в океан. «Поздравляю с океаном», – сказал он. «Вы очень рады ему, вероятно, как старому знакомому?» – спросил я. «Да, мы друг друга знаем, – отвечал он. – И точно я рад: теперь на карту хоть не гляди, по ночам можно спать: камней, банок, берегов – долго не дождемся». – «А буря?» – «Какая буря?» – «Ну, шторм», – поправился я. «Это не по моей части, – сказал он. – Я буду спать, а Иван Семенович и вот Иван Иванович нет. Да что такое шторм на океане? Если еще при попутном ветре, так это значит мчаться во весь дух на лихой тройке, не переменяя лошадей!» Внизу, за обедом, потом за чашкой кофе и сигарой, а там за книгой, и забыли про океан... да не то что про океан, а забыли и о фрегате. Точно где-нибудь в комнате собралось несколько человек приятелей у доброго хозяина, который представляет всякому делать, что он хочет. Я разложил у себя на бюро бумаги, книги, поставил на свое место чернильницу, расположил все мелочи письменного стола, как дома. Фаддееву опять досталось немало возиться с убранством каюты. Я не мог надивиться его деятельности, способностям и силе. Я, кажется, писал вам, что мне дали другую каюту, вверху на палубе. Это была маленькая комнатка с окном. Надо было установить в ней все, как в прежней. И Фаддеев все это сделал еще в Портсмуте, при переселении с «Кемпердоуна» на фрегат. Доска ли нейдет – мигом унесет ее, отпилит лишнее, и уж там, как она ни упрямься, а он втиснет ее в свое место. Ему нужды нет, если от этого что-нибудь расползется врозь: он и то поправит, и опять нужды нет, если доска треснет. Он один приделал полки, устроил кровать, вбил гвоздей, сделал вешалку и потом принялся разбирать вещи по порядку, с тою только разницею, что сапоги положил уже не с книгами, как прежде, а выстроил их длинным рядом на комод и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахар разложил на книжной полке. «Ближе доставать», – сказал он на мой вопрос, зачем так сделал. С книгами поступил он так же, как и прежде: поставил их на верхние полки, куда рукой достать было нельзя, и так плотно уставил, что вынуть книгу не было никакой возможности. У него было то же враждебное чувство к книгам, как и у берегового моего слуги: оба они не любили предмета, за которым надо было ухаживать с особенным тщанием, а чуть неосторожно поступишь, так, того и гляди, разорвешь. Иногда он, не зная назначения какой-нибудь вещи, брал ее в руки и долго рассматривал, стараясь угадать, что бы это такое было, и уже ставил по своему усмотрению.

Попался ему одеколон: он смотрел, смотрел, наконец налил себе немного на руку. «Укус», – решил он, сунув стеклянку куда-то подальше в угол.

Мне надо было несколько изменить в каюте порядок, и это стоило немалого труда. Но худо ли, хорошо ли, а каюта была убрана; все в ней расставлено и разложено по возможности как следует; каждой вещи назначено место на два, на три года. А про океан, говорю, и забыли. Только изредка кто-нибудь придет сверху и скажет, что славно идем: девять узлов, ветер попутный. И в самом деле шли отлично. Но океан не забыл про нас. К вечеру стало покачивать. Ну, что за важность? пусть немного и покачает: на то и океан. Странно, даже досадно было бы, если б дело обошлось так тихо и мирно, как где-нибудь в Финском заливе.

К чаю уже надо было положить на стол рейки, то есть поперечные дощечки ребром, а то чашки, блюдечки, хлеб и прочее ползло то в одну, то в другую сторону. Да и самим неловко было сидеть за столом: сосед наваливался на соседа. Начались обыкновенные явления качки: вдруг дверь отворится и с шумом захлопнется. В каютах, то там, то здесь, что-нибудь со стуком упадет со стола или сорвется со стены, выскочит из шкапа и со звоном разобьется – стакан, чашка, а иногда и сам шкап зашевелится. А там вдруг слышишь, сочится где-то сквозь стенку

струя и падает дождем на что случится, без разбора, – на стол, на диван, на голову кому-нибудь. Сначала это возбуждало шутки. Смешно было смотреть, когда кто-нибудь пойдет в один угол, а его отнесет в другой: никто не ходил как следует, все притопывая. Юность резвилась, каталась из угла в угол, как с гор. Вестовые бегали, то туда, то сюда, на шум упавшей вещи, с тем, чтобы поднять уже черепки. Сразу не примешь всех мер против неприятных случайностей.

Эта качка напоминала мне пока наши похождения в Балтийском и Немецком морях – не больше. Не привыкать уже было засыпать под размахи койки взад и вперед, когда голова и ноги постепенно поднимаются и опускаются. Я кое-как заснул, и то с грехом пополам: но не один раз будил меня стук, топот людей, суматоха с парусами.

Еще с вечера начали брать рифы: один, два, а потом все четыре. Едва станешь засыпать – во сне ведь другая жизнь и, стало быть, другие обстоятельства, – приснитесь вы, ваша гостиная или дача какая-нибудь; кругом знакомые лица; говоришь, слушаешь музыку: вдруг хаос – ваши лица искажаются в какие-то призраки; полуоткрываешь сонные глаза и видишь, не то во сне, не то наяву, половину вашего фортепиано и половину скамьи; на картине, вместо женщины с обнаженной спиной, очутился часовой; раздался внезапный треск, звон – очнешься – что такое? ничего: заскрипел трап, хлопнула дверь, упал графин, или кто-нибудь вскакивает с постели и бранится, обливаемый водою, хлынувшей к нему из полупортика прямо на тюфяк.

Утомленный, заснешь опять; вдруг удар, точно подземный, так что сердце дрогнет – проснешься: ничего – это поддало в корму, то есть ударило волной... И так до утра! Все еще было сносно, не более того, что мы уже испытали прежде. Но утром 12-го января дело стало посерьезнее. «Буря», – сказали бы вы, а мои товарищи называли это очень свежим ветром. Я пробовал пойти наверх или «на улицу», как я называл верхнюю палубу, но ходить было нельзя. Я постоял у шпиля, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат и перед вами палуба стоит стоймя, то вдруг скроется палуба и вместо нее очутится стена воды, которая так и лезет на вас. Но не бойтесь: она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно... Я воротился в общую каюту.

Трудно было и обедать: чуть зазеваешься, тарелка наклонится, и ручей супа быстро потечет по столу до тех пор, пока обратный толчок не погонит его назад. Мне уж становилось досадно: делать ничего нельзя, даже читать. Сидя ли, лежа ли, а все надо думать о равновесии, упираться то ногой, то рукой.

Вечером я лежал на кушетке у самой стены, а напротив была софа, устроенная кругом бизань-мачты, которая проходила через каюту вниз. Вдруг поддало, то есть шальной или, пожалуй, девятый вал ударил в корму. Все ухватились кто за что мог. Я, прежде нежели подумал об этой предосторожности, вдруг почувствовал, что кушетка отделилась от стены, а я отделяюсь от кушетки.

«Куда?» – мелькнул у меня вопрос в голове, а за ним и ответ: «На круглую софу». Я так и сделал: распростер руки и препокойно перевалился на мягкие подушки круглой софы. Присутствовавшие, – капитан Лосев, барон Крюднер и кто-то еще, – сначала подумали, не ушибся ли я, а увидя, что нет, расхохотались. Но смеяться на море безнаказанно нельзя: кто-нибудь тут же пойдет по каюте, его повлечет наклонно по полу; он не успеет наклониться – и, смотришь, приобрел шишку на голове; другого плечом ударило о косяк двери, и он начинает бранить бог знает кого.

Скучное дело качка; все недовольны; нельзя как следует читать, писать, спать; видны также бледные, страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме собственно морского порядка, который, напротив, усугублен. Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет... Просто нет житья!

12-го и 13-го января ветер уже превратился в крепкий и жестокий, какого еще у нас не было. Все полупортики, люминаторы были наглухо закрыты, верхние паруса убраны, пушки закреплены задними таями, чтоб не давили тяжестью своего борта. Я не только стоять, да

и сидеть уже не мог, если не во что было упираться руками и ногами. Кое-как добрался я до своей каюты, в которой не был со вчерашнего дня, отворил дверь и не вошел – все эти термины теряют значение в качку – был втиснут толчком в каюту и старался удержаться на ногах, упираясь кулаками в обе противоположные стены. Я ахнул: платье, белье, книги, часы, сапоги, все мои письменные принадлежности, которые я было расположил так аккуратно по ящикам бюро, – все это в кучке валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили из своих мест, щетки, гребни, бумаги, письма – все ездило по полу вперегонку, что скорее скакнет в угол или оттуда на середину.

«Фаддеев!» – закричал я в ужасе. «Фаддеев!» – повторил один матрос. – «Фаддеев!» «Фаддеев!» – повторил другой и за ним третий, потом этот третий заглянул ко мне в каюту. «Они на кубрике, ваше высокоблагородие, – сказал он, – сейчас придут». – «Кто они?» – спросил я. «А Фаддеев». Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют, как они или матросиком, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. «Иди, Сенька, дьявол, скорее! тебя Иван Александрович давно зовет», – сказал этот же матрос Фаддееву, когда тот появился. «Ну, ты разговаривай у меня, сволочь!» – отвечал Фаддеев шепотом, показывая ему кулак. Это у них вовсе не брань: они говорят не сердясь, а так, своя манера. Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга – братишкой. «Посмотри-ка!» – сказал я Фаддееву, указывая на беспорядок, и, махнув рукою, ушел в капитанскую каюту.

Это был просторный, удобный, даже роскошный, кабинет. Огромный платяной шкаф орехового дерева, большой письменный стол с полками, пьянино, два мягкие дивана и более полудюжины кресел составляли его мебель. Вот там-то, между шкапом и пьянино, крепко привинченными к стене и полу, была одна полукруглая софа, представлявшая надежное убежище от кораблекрушения.

Любезный, гостеприимный хозяин И. С. Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение. Сам он не был изнежен и почти ею не пользовался, особенно в непогоду. Тогда он не раздевался, а соснет где-нибудь в кресле, готовый каждую минуту бежать на палубу. Сядешь на эту софу, и какая бы качка ни была – килевая ли, то есть продольная, или боковая, поперечная, – упасть было некуда. Одна половина софы шла вдоль, а другая поперек фрегата. Тут не пускал упасть шкаф, а там пьянино. Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! «Буря – прекрасно! поэзия!» – скажете вы в ребяческом восторге. «Какая буря – свежий ветер!» – говорят вам.

Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плователя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться: или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот того гляди вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.

«Крепкий ветер, жестокий ветер! – говорил по временам капитан, входя в каюту и танцуя в ней. – А вы это все сидите? Еще не приобрели морских ног». – «Я и свои потерял», – сказал я. Но ему не верилось, как это человек может не ходить, когда ноги есть. «Да вы встаньте, ну, попробуйте», – уговаривал он меня. «Пробовал, – сказал я, – без пользы, даже со вредом и для себя, и для мебели. Вот, пожалуй...» Но меня потянуло по совершенно отвесной покатости пола, и я побежал в угол, как давно не бегал. Там я кулаком попал в зеркало, а другой рукой в стену. Капитану было смешно. «Что же вы чай нейдете пить?» – сказал он. «Не хочу!» – со злостью сказал я. «Ну я велю вам сделать здесь». – «Не хочу!» – повторил я... Я был очень зол. Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется вдребезги; но когда убедишься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, досада превращается в озлобление, а потом в уныние. Время идет медленно: его измеряешь не часами, а ровными, тяжелыми размахами судна и глухими ударами волн в бока и корму. Это не тихое чувство покорности, resignation, а чистая злоба, которая пожирает вас, портит кровь, печень, желудок, раздражает желчь. Во рту сухо, язык горит. Нет ни аппетита, ни сна; ешь, чтоб как-нибудь наполнить праздное время и пустой желудок. Не спишь, потому что не хочется спать, а забываешься от утомления в полудремоте, и в этом состоянии опять носятся над головой уродливые грезы, опять галлюцинации; знакомые лица являются, как мифологические боги и богини. То ваша голова и стан, мой прекрасный друг, но в матросской куртке, то будто пушка в вашем замазленном пальто, любезный мой артист, сидит подле меня на диване. Заснешь и вполглаза видишь наяву снасть, а рядом откуда-то возьмутся шелковые драпри какой-нибудь петербургской гостиной – вазы, цветы, из-за которых тут же выглядывает урядник Терентьев. Далее опять франты, женщины, но вместо кружевного платка в руках женщины – каболка (оборвыш веревки) или банник, а франт трет палубу песком... И вдруг эти франты и женщины завоюют, заскрипят; лица у них вытянулись, разложились – хлоп, полетели куда-то в бездну... Откроешь глаза и увидишь, что каболка, банник, Терентьев – все на своем месте; а ваз, цветов и вас, милые женщины, – увы, нет! Подчас до того все перепутается в голове, что шум и треск, и эти водяные бугры, с пеной и брызгами, кажутся сном, а берег, дома, покойная постель – действительностью, от которой при каждом толчке жестоко отрезвляешься.

Я так и не ночевал в своей каюте. Капитан тут же рядом спал одетый, беспрестанно вскакивая и выбегая на палубу. Фаддеев утром явился с бельем и звал в кают-компанию к чаю. «Не хочу!» – был один ответ. «Не надо ли, принесу сюда?» – «Не хочу!» – твердил я, потому что накануне попытка напиться чаю не увенчалась никаким успехом: я обжег пальцы и уронил чашку. «Что, еще не стихает?» – спросил я его. «Куда те стихать, так и ревет. Уж такое сердитое море здесь!» – прибавил он, глядя с непростительным равнодушием в окно, как волны вставали и падали, рассыпаясь пеною и брызгами. Я от скуки старался вглядеться в это равнодушие, что оно такое: привычка ли матроса, испытанного в штормах, уверенность ли в силах и средствах? – Нет, он молод и закалиться в службе не успел. Чувство ли покорности судьбе: и того, кажется, нет. То чувство выражается сознательною мыслью на лице и выработанным ею спокойствием, а у него лицо все так же кругло, бело, без всяких отметин и примет. Это просто – равнодушие, в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием он, то есть Фаддеев, – а этих Фаддеевых легион – смотрит и на новый прекрасный берег, и на невиданное им дерево, человека – словом, все отскакивает от этого спокойствия, кроме одного ничем не сокрушимого стремления к своему долгу – к работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие – родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фаддеев, где-нибудь на берегу, по веревке, с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе, наверху четырехэтажного дома, оборачиваясь, в размахах веревки, спиной то к улице, то к дому. Посмотрите ему в лицо: есть ли сознание опасности? – Нет. Он лишь старается при толчке упереться ногой в стену, чтоб не

удариться коленкой. А внизу третий Фаддеев, который держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверху: он зеваает, с своей стороны, по сторонам.

Фаддеев и перед обедом явился с приглашением обедать, но едва я сделал шаг, как надо было падать или проворно сесть на свое место. «Не хочу!» – сказал я злобно. «Третья склянка! зовут, ваше высокоблагородие», – сказал он, глядя, по обыкновению, в стену. Но на этот раз он чему-то улыбнулся. «Что ты смеешься?» – спросил я. Он захохотал. «Что с тобой?» – «Да смех такой...» – «Ну говори, что?» – «Шведов треснулся головой о палубу». – «Где? как?» – «С койки сорвался: мы трое подвесились к одному крючку, крючок сорвался, мы все и упали: я ничего, и Паисов ничего, упали просто и встали, а Шведов голову ушиб – такой смех! Теперь сидит да стонет».

Уже не в первый раз заметил я эту черту в моем вестовом. Попадется ли кто, достанется ли кому – это бросало его в смех. Поди, разбирай, из каких элементов сложился русский человек! И это не от злости: он совсем не был зол, а так, черта, требующая тонкого анализа и особенного определения. Но ему на этот раз радость чужому горю не прошла даром. Не успел он рассказать мне о падении Шведова, как вдруг рассыльный явился в дверях. «Кто подвешивался с Шведовым на один крючок?» – спросил он. «Кто?» – вопросом отвечал Фаддеев. «Паисов, что ли?» – «Паисов?» – «Да говори скорей, еще кто?» – спросил опять рассыльный. «Еще?» – продолжал Фаддеев спрашивать. «Поди к вахтенному, – сказал рассыльный, – всех требуют!» Фаддеев сделался очень серьезен и пошел, а по возвращении был еще серьезнее. Я догадался, в чем дело. «Что же ты не смеешься? – спросил я, – кажется, не одному Шведову досталось?» Он молчал. «А Паисову досталось?» Он опять разразился хохотом. «Досталось, досталось и ему!» – весело сказал он.

«Нет, этого мы еще не испытали!» – думал я, покачиваясь на диване и глядя, как дверь кланялась окну, а зеркало шкапу. Фаддеев пошел было вон, но мне пришло в голову пообедать тут же на месте. «Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть в тарелке? – спросил я, – попроси жаркого или холодного». – «Отчего не принести, ваше высокоблагородие, изволь, принесу!» – отвечал он. Через полчаса он появился с двумя тарелками в руках. На одной был хлеб, солонка, нож, вилка и салфетка; а на другой кушанье. Он шел очень искусно, упираясь то одной, то другой ногой и держа в равновесии руки, а местами вдруг осторожно приседал, когда покатошь пола становилась очень крута. «Вот тебе!» – сказал он (мы с ним были на ты; он говорил вы уже в готовых фразах: «ваше высокоблагородие» или «воля ваша» и т. п.). Он сел подле меня на полу, держа тарелки. «Чего же ты мне принес?» – спросил я. «Тут все есть, всякие кушанья», – сказал он. «Как все?» Гляжу: в самом деле – все, вот курица с рисом, вот горячий паштет, вот жареная баранина – вместе в одной тарелке, и все прикрыто вафлей. «Помилуй, ведь это есть нельзя. Недоставало только, чтоб ты мне супу налил сюда!» – «Нельзя было, – отвечал он простодушно, – того гляди, прольешь». Я стал разбирать куски порознь, кладя кое-что в рот, и так мало-помалу дошел – до вафли. «Зачем ты не положил и супу!» – сказал я, отдавая тарелки назад.

«Боже мой! кто это выдумал путешествия? – невольно с горестью воскликнул я, – едешь четвертый месяц, только и видишь серое небо и качку!» Кто-то засмеялся. «Ах, это вы!» – сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих товарищей, К. И. Лосев. «Да право! – продолжал я, – где же это синее море, голубое небо да теплота, птицы какие-то да рыбы, которых, говорят, видно на самом дне?» На ропот мой как тут явился и дед.

«Вот ведь это кто все рассказывает о голубом небе да о тепле!» – сказал Лосев. «Где же тепло? Подавайте голубое небо и тепло!..» – приставал я. Но дед маленькими своими шажками проворно пошел к карте и начал мерять по ней циркулем градусы да чертить карандашом. «Слышите ли?» – сказал я ему.

– 42 и 18! – говорил он вполголоса. Я повторил ему мою жалобу.

– Дайте пройти Бискайскую бухту – вот и будет вам тепло! Да погодите еще, и тепло наскучит: будете вздыхать о холоде. Что вы все сидите? Пойдемте.

– Не могу; я не стою на ногах.

– Пойдемте, я вас отбуксирую! – сказал он и повел меня на шканцы.

Опираясь на него, я вышел «на улицу» в тот самый момент, когда палуба вдруг как будто вырвалась из-под ног и скрылась, а перед глазами очутилась целая изумрудная гора, усыпанная голубыми волнами, с белыми, будто жемчужными, верхушками, блеснула и тотчас же скрылась за борт. Меня стало прижимать к пушке, оттуда потянуло к люку. Я обеими руками уцепился за леер.

– Ведите назад! – сказал я деду.

– Что вы? посмотрите: отлично!

У него все отлично. Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час – «славно, отлично!» – говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад – «чудесно! – восхищается он, – по полтора узла идем!» На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр; только в жар подбородок у него светится, как будто вымазанный маслом; в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль – ему все равно. Близко ли берег, далеко ли – ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался. «Отлично!» – твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать. И он тоже с тринадцати лет ходит в море и двух лет сряду никогда не жил на берегу. За своеобразие ли, за доброту ли – а его все любили. «Здравствуйте, дед! Куда вы это торопитесь?» – говорила молодость. «Не мешайте: иду определиться!» – отвечал он и шел, не оглядываясь, ловить солнце. «Да где мы теперь?» – спрашивали опять. «В Божием мире!» – «Знаем; да где?» – «380° северной широты и 12° западной долготы». – «На параллели чего?» – «А поглядите на карту». – «Скажите...» – «Пустите, пустите!» – говорил он, расталкивая молодежь, как толпу ребятишек.

– Холодно, дед! ведите меня назад, – говорил я.

– Что за холодно – отлично! – отвечал он.

Не дождавшись его, я пошел один опять на свое место, но дорого заплатил за смелость. Я вошел в каюту и не успел добежать до большой полукруглой софы, как вдруг сильно поддало. Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим; но не тут-то было: надо было прирасти к стене, чтоб не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как ни крепился, но должен был, к крайнему прискорбию, расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило грудью о кресло так сильно, что кресло хотя и осталось на месте, потому что было привязано к полу, но у него подломилась ножка, а меня перебросило через него и повлекло дальше по полу. По дороге я ушиб еще коленку да задел за что-то щекой. Примчавшись к своему месту, я несколько минут сидел от боли неподвижно на полу. К счастью, ушиб не оставил никаких последствий. С неделю больно было дотрогиваться до груди, а потом прошло.

В это время К. И. Лосев вошел в каюту. Я стал рассказывать о своем горе.

– А вы скорей садитесь на пол, – сказал он, – когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!

Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.

– Вот, вот так! – учил он, опускаясь на пол. – Ай, ай! – закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, а он стремительно домчался вплоть до

меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня.

Так дни шли за днями, или не «дни», а «сутки». На берегу замечаются только одни дни, а в море, в качке, спишь не когда хочешь, а когда можешь. Там рядом с обыкновенным, природным днем является какой-то другой, искусственный, называемый на берегу ночью, а тут полный забот, работ, возни. Томительные сутки шли за сутками. Человек мечется в тоске, ищет покойного угла, хочет забыться, забыть море, качку, почитать, поговорить – не удается. Всякий сустав в нем, всякий нерв бодрствует, раздраженный и утомленный продолжительным напряжением. Прошлое спокойствие, минуты счастья, отличное плавание, родина, друзья – все забыто; а если и припоминается, так с завистью. «Да неужели есть берег? – думаешь тут, – ужели я был когда-нибудь на земле, ходил твердой ногой, спал в постели, мылся пресной водой, ел четыре-пять блюд, и все в разных тарелках, читал, писал на столе, который не пляшет? Ужели есть сады, теплый воздух, цветы...» И цветы припомнишь, на которые на берегу и не глядел. Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, тревог, бурь, волнений, о которых вздыхал я на берегу! Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь! Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство – раскаяния: зачем поехал!

В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагоприятно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими – «угрюмый, мрачный, могучий», и Фаддеевым – «сердитый». «Соленый, скучный, безобразный и однообразный! – прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз, – заладил одно – и конца нет!» Внизу везде вода, сырость; спали кое-как, где попало. Я тут же прилег и раз десять вскакивал ночью, пробуждаясь от скрипа, от какого-нибудь внезапного крика, от топота людей, от свистков; вприсонках видел, как дед приходил и уходил с веселым видом.

– Качает, дед! – жаловался я.

– Еще бы не качать: крутой бейдевинд! – сказал он. – Отлично.

– Что же отличного?..

– Как что: 101/2 узлов ходу, прошли Бискайскую бухту, утром будем на параллели Финистерре.

– Подите вы, отлично!

Вдруг показался в дверях своей каюты О. А. Гошкевич, которого мы звали переводчиком. Бледный, с подушкой в руках, он вошел в общую каюту и лег на круглую софу. Его мучило. Он не знал сна, аппетита. Полежав там минут пять, он перешел на кушетку, потом сел на стул, но вскакивал опять и нигде не находил покоя. Жертва морской болезни с первого выхода в море, он возбуждал общее, но бесполезное участие. Его отвели в батарейную палубу и подвесили там койку недалеко от люка, чрез который проходил свежий воздух. Мне стало совестно за свою досаду, и я перестал жаловаться.

Следующие дни тянулись так же однообразно, волнисто, бурно, холодно.

Небо и море серые. А ведь это уж испанское небо! Мы были в 30-х градусах «северной» широты. Мы так были заняты, что и не заметили, как миновали Францию, а теперь огибали Испанию и Португалию. Я, от нечего делать, любил уноситься мысленно на берега, мимо которых мы шли и которых не видали.

Париж возбуждал общий интерес. Мы оставили его в самый занимательный момент: Людовик-Наполеон только что взшел на престол. Англия одна еще признала его – больше ничего мы не знали. Улеглись ли партии? сумел ли он поддержать порядок, который восстановил? тихо ли там? – вот вопросы, которые шевелились в голове при воспоминании о Франции. «В Париж бы! – говорил я со вздохом, – пожить бы там, в этом омуте новостей, искусств, мод, политики, ума и глупостей, безобразия и красоты, глубокомыслия и пошлости, – пожить бы

эпикурейцем, насмешливым наблюдателем всех этих проказ!» «А вот Испания с своей цветущей Андалузией, – уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу. – Севилья, caballeros с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. Dahin бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин, умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, – пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет».

Но фрегат мчится – едва только дед успевает доносить начальству: 40, 38, 35 градусов, параллель – Сан-Винцента, Кадикса... Прощай, Испания, прощай, Европа! Прощайте, друзья мои! увижу ли я вас? Дойдут ли когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу, точно под шум столетней дубравы, хотя под южным, но еще серым небом, пишу в теплом байковом пальто? Далеко, кажется, уехал я, но чую еще север смущенной душой; до меня еще доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто близко. Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые брызги – вот пока моя сфера!

18-го января, в осьмой день по выходе из Англии, часов в 9-ть утра, кто-то постучался ко мне в дверь. «Кто там?» – спросил я. «Я», – послышался ответ. «А! это вы, милый мой сосед?» – «Что вы делаете?» – спросил он. «Что?» – отвечал я вопросом, как Фаддеев. «Верно, лежите?» – «Почти...» – сказал я, барахтаясь от качки в постели, одолеваемый подушками. «Стыдитесь!» – «Я и то стыжусь, да что ж мне делать?» – говорил я, унимая подушки и руками, и ногами. «Мадера видна». – «Что вы? Фаддеев, Фаддеев!» – закричал я. Он вошел. «Что ж ты нейдешь будить меня? Мадера видна?» – спросил я, думая, не подшутил ли надо мной сосед. «Мадера?» – спросил Фаддеев, глядя на меня так тонко, как дай Бог хоть какому дипломату. «Ну да», – сказал я с нетерпением. Он стал смотреть на стену с обычным равнодушием. «Берег виден, – отвечал он, помолчав, – уж с седьмого часа». – «Что ж ты не пришел мне сказать?» – упрекнул я его. «Воды горячей не было – бриться, – отвечал он, – да и сапоги не чищены». – «Ну давай, давай одеваться! Что там наверху?» – «Господи! как тепло, хорошо ходить-то по палубе: мы все сапоги сняли», – отвечал он с своим равнодушием, не спрашивая ни себя, ни меня и никого другого об этом внезапном тепле в январе, не делая никаких сближений, не задавая себе задач... «Господи! – отвечал я, – как тебе, должно быть, занимательно и путешествовать, и жить на свете, младенец с исполинскими кулаками! Живо, живо, одеваться!» – прибавил я. «Успеешь, ваше высокоблагородие, – отвечал он, – вот – на, прежде умойся!» Я боялся улыбнуться: мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизацией, тем более что мы уже и вышли из Европы и подходили... к Костроме, в своем роде.

Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами – крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет. Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга все выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Все казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса; нигде не видать жилья. Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше – Дезертос, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол...

18 января.

Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito ergo sum – путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на

что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без усталости свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей – и все вместе с душой человека.

Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и небо, и океан, одна из тех картин, которые видишь в панораме, на полотне, и не веришь, приписывая оболещению кисти. Группа гор тесно жалась к одной главной горе – это первая большая гора, которую увидели многие из нас, и то она помещена в аристократию гор не за высоту, составляющую всего около 6000 футов над уровнем моря, а за свое вино. Но нам, особенно после низменных и сырых берегов Англии, гора показалась исполином. И как она была хорошо убрана! На вершине белелся снег, а бока покрыты темною, местами бурю растительностью; кое-где ярко зеленели сады.

В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисея, и сеяло дождь; гора опоясывалась радугами.

В одном месте кроется целый лес в темноте, а тут вдруг оболещется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не успеваешь следить за этой игрой света, как в диораме.

По скату горы шли виноградники, из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре, на уступе, видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фунчал... Ужели это город: эти белеющие внизу у самой подошвы, на берегу, дома, как будто крошки сахара или отвалившейся откуда-то штукатурки? Чем ближе подвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь чье-то близкое горячее дыхание на лице. Горы справа, слева утесами спускались к берегу. На одном из них, слева от города, поставлена батарея. Внизу, под боком другого утеса, пробирался к рейду купеческий корабль. Мы навели зрительные трубы на него. Корабль был буквально покрыт, почти задавлен пассажирами, все эмигрантами, едущими из Европы в Америку или Австралию. Ну, дай Бог им счастливо добраться! Нам показалось, что их там более трехсот человек. Как они помещаются?.. Все они вышли смотреть берег.

Гавани на Мадере нет, и рейд ее неудобен для судов, потому что нет глубины, или она, пожалуй, есть, и слишком большая, оттого и не годится для якорной стоянки: недалеко от берега – 60 и 50 сажень; наконец, почти у самой пристани, так что с судов разговаривать можно, – все еще пятнадцать сажень.

Военные суда мало становятся здесь на якорь, а купеческие хотя и останавливаются, но, чуть подует ветер с юга, они уходят на северную сторону, а от северных ветров прячутся здесь. Мы остановились здесь только затем, чтоб взять живых быков и зелени, поэтому и решено было на якорь не становиться, а держаться на парусах в течение дня; следовательно, остановка предполагалась кратковременная, и мы поспешили воспользоваться ею. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лисабоне.

Нас окружили шлюпки всяких величин и форм. Приехал капитан над портом поздравить с благополучным прибытием и осведомиться о здоровье плавателей. Кажется, чего учтивее? А скажите-ка, что вы нездоровы, что у вас, например, человек двадцать-тридцать больных лихорадкой, так вас очень учтиво попросят не съезжать на берег и как можно скорее удалиться. Привезли апельсинов, еще чего-то; приехала прачка, трактирщица; все совали нам в руки свои адреса, и я опустил в карман своего пальто еще две карточки, к дюжинам прочих, приобретенных в Англии. Их так много накопилось в карманах всех платьев, что лень было заняться сбросить их за борт. «В другое время, nur nicht heute», – думал я согласно с известным немец-

ким двустушием. После всего этого отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней сидел русский чиновник, в вицмундире министерства иностранных дел, с русским орденом в петлице. Это – консул. Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между плователями старых знакомых, и пригласил нас несколько человек к себе на обед. Был час одиннадцатый утра, когда мы сели в консульскую шлюпку. Гребцы – все португальцы, одетые очень картинно, в белых спенсерах с отложными воротниками, в маленьких, едва покрывающих темя, красных или синих шапочках, но без обуви. Шея и грудь открыты; все почти с бородами, но без усов, и большею частью рослый, красивый народ.

Я, бывало, с большой недоверчивостью читал в путешествиях о каких-то необыкновенных запахах, которые доносятся, с берега за версту, до носов мореплавателей. Я думал, что эти запахи присутствовали в носовых платках путешественников, франтов эпохи Людовиков XIV и XV, когда прыскались духами до обморока. Но вот в самом деле мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то. Кто-то из нас, опытный в деле запахов, решил, что пахнет гелиотропом. Вместе с запахом доносились звуки церковного колокола, потом музыки. А декорация гор все поминутно менялась: там, где было сейчас свежо, ясно, золотисто, теперь задернуто точно флером, а на прежнем месте, на высоте, вдруг озарились бурые холмы опаленной солнцем пустыни: там радуга.

Вглядываясь в новый, поразительный красотой берег, мы незаметно очутились у пристани, или виноват, ее нет – ну там, где она должна быть.

Шлюпки не пристают здесь, а выскакивают с бурунами на берег, в кучу мелкого щебня. Гребцы, засучив панталоны, идут в воду и тащат шлюпку до сухого места, а потом вынимают и пассажиров. Мы почти бегом бросились на берег по площади, к ряду домов и к бульвару, который упирается в море.

Как приятно расправить ноги после многодневного плавания! Походка еще неверна, надо несколько минут привыкать ходить, отвыкнешь и устаешь сразу.

На бульваре, под яворами и олеандрами, стояли неподвижно три человеческие фигуры, гладко обритые, с синими глазами, с красивыми бакенбардами, в черном платье, белых жилетах, в круглых шляпах, с зонтиками, и с пронзительным любопытством смотрели то на наше судно, то на нас. Нужно ли называть их? И тут они? Мало еще мы видели их! Лучшие дома в городе и лучшие виноградники за городом принадлежат англичанам. Пусть бы так; да зачем сами-то они здесь? Как неприятно видеть в мягком воздухе, под нежным небом, среди волшебных красок эти жесткие явления! Но мы развлечены были разнообразием других предметов. Музыка, едва слышная на рейде, раздавалась громко из одного длинного здания – казарм, как сказал консул: музыканты учились. Мы пошли по улицам, расположенным амфитеатром, потому что гора начинается прямо от берега. Однако идти по мостовой не совсем гладко: она вся состоит из небольших довольно острых камней: и сквозь подошву чувствительно. В домах жалюзи наглухо опущены от жара; дома очень просты, в два этажа и в один; многие окружены каменным забором. Везде видны сады, зелень, плющи; даже мостовая поросла мелкой травой.

Но отчего на улицах мало деятельности? Толпа народа гуляет празднично; все нарядно одеты. На юге вообще работать не охотники; но уж так лениться, что нигде ни признака труда, – это из рук вон. «Сегодня воскресенье, оттого и магазины заперты», – сказал консул, который шел тут же с нами. Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист, – неправда, он очень опрятен, а белизна стен и кровель придает ему даже более нежели опрятный вид. Грязи здесь, под этим солнцем, быть не может. По словам консула, здесь никогда более трех дней дурной погоды не бывает, и то немного вспрыснет дождь, прогремит гром – и снова солнце заиграет над островом. Да оно и не прячется никогда совершенно, и мы видели, что оно в

одном месте светит, в другом на полчаса скроется. Оссиановской, сырой и туманной, погоды здесь не бывает.

Пока мы шли к консулу, нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописная костюмами, с смуглыми лицами, черными глазами, в шапочках, колпаках или просто с непокрытой головой, красавцев и уродов, но больше красавцев. Между уродами немало видно обезображенных оспой. Есть и негры, но немного. Все они, на разных языках, больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом, навязывались в проводники. «Вот госпиталь, вот казармы», – говорил один, «это церковь такая-то», – перебивал другой, «а это дом русского консула», – добавил третий. Мы туда и повернули, и обманутые проводники вдруг замолчали.

Небольшой каменный дом консула спрятался за каменную же стену, между чистым двором и садом. Консул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил по-английски и немного по-французски. Ему лет за 50. От первой жены у него есть взрослый сын, которого он обещал показать нам за обедом. Нас ввели почти в темную гостиную; было прохладно, но подняли жалюзи, и в комнату хлынул свет и жар. Из окон прекрасный вид вниз, на расположенные амфитеатром по берегу дома и на рейд. Но мы только что ступили на подошву горы: дом консула недалеко от берега – прекрасные виды еще были вверху.

Поговорив немного с хозяином и помолчав с хозяйкой, мы объявили, что хотим гулять. Сейчас явилась опять толпа проводников и другая с верховыми лошадьми. На одной площадке, под большим деревом, мы видели много этих лошадей. Трое или четверо наших сели на лошадей и скрылись с проводниками.

Консул предложил, не хочу ли я, мне приведут также лошадь, или не предпочту ли я паланкин. «В паланкине было бы покойнее», – сказал я. Консул не успел перевести оставшейся с нами у ворот толпе моего ответа, как и эта толпа бросилась от нас и исчезла. Консул извинился, что не может провожать нас в горы. «Там воздух холоден, – сказал он, – теперь зима, и я боюсь за себя. Вам советую надеть пальто», – прибавил он, но я оставил пальто у него в доме. Зима! хороша зима: по улице жарко идти, солнце пропекает спину чуть не насквозь. «Не опоздайте же к обеду: в 4 часа!» – кричал мне консул, когда я, в ожидании паланкина, пошел по улице пешком. За мной увязались идти двое мальчишек; один болтал по-французски, то есть исковеркает два слова французских да прибавит три португальских; другой то же делал с английским языком. Однако ж мы как-то понимали друг друга.

Я не торопился на гору: мне еще ново было все в городе, где на всем лежит яркий, южный колорит. И тут солнце светит не по-нашему, как-то румянее; тени оттого все резче, или уж мне так показалось после продолжительной дурной погоды. Из-за заборов выглядывает не наша зелень. Везде по стенам и около окон фестоном лепится бесконечный плющ да целая ширма широколиственного винограда. Местами видны, поверх заборов, высокие стройные деревья с мелкою зеленью, это – мирты и кипарисы. Народ, непохожий на наш, северный: все смуглые лица да резкие, подвижные черты. А вот вдруг вижу, однако ж, что-то очень северное, будто сани. Что за странность: экипажи на полозьях из светлого, кажется ясеневое или пальмового, дерева; на них места, как в кабриолете. Запряжены эти сани парой быков, которые, разумеется шагом, тащат странный экипаж по камням. В экипаже сидит семейство: муж с женой и дети. «Стало быть, колясок и карет здесь нет, – заключил я, – мало места, и ездить им на гору круто, а по городу негде». Ездят верхом и в носилках. Мимо меня проскакала, на небольшой красивой лошадке, плотная барыня, вся в белой кисее, в белой шляпе; подле, держась за уздечку, бежал проводник. И наши поехали с проводниками, которые тоже бежали рядом с лошадкой, да еще в гору, – что же у них за легкие? Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-

нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи. Я все шел пешком, и двое мальчишек со мной. В домах иногда открывались жалюзи; из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка, услышав звонкие шаги по тихой улице, на минуту выглядывали, как в провинции, удовлетворить любопытству и снова погружались в дремоту съесты. Дальше опять я видел важно шагающего англичанина, в белом галстуке, и если не с зонтиком, так с тростью. Там, должно быть у шинка, толчется кучка народу. Но все тихо: по климату – это столица мира; по тишине, малолюдству и образу жизни – степная деревня.

Слышу топот за собой. За мной мчится паланкин; проводники догнали меня и поставили носилки на землю. Напрасно я упрашивал их дать мне походить; они схватили меня с криком за обе руки и буквально упрятали в колыбель. Мне было как-то неловко, совестно ехать на людях, и я опять было выскочил. Они опять стали бороться со мной и таки посадили, или, лучше сказать, положили, потому что сидеть было неловко. «А что ж, ничего! – думал я, – мне хорошо, как на диване; каково им? Пусть себе несут, коли есть охота!» Я ожидал, что они не поднимут меня, но они, как ребенка, вскинули меня с паланкином вверх и помчали по улицам. А всего двое; но зато что за рослый, красивый народ! как они стройны, мужественны на взгляд! Из-за отстегнутого воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется, черноглазые, черноволосые, с длинными бородами. Скоро мы стали подниматься в гору; я думал, тут устанут они, но они шли скорым шагом. Однако ж лежать мне надоело: я привстал, чтоб сесть и смотреть по сторонам. Преширокая ладонь подкралась сзади и тихонько опрокинула меня опять на спину. «Это что?» Я опять привстал, колыбель замоталась и пошла медленнее. Опять та же ладонь хочет опрокидывать меня. «Я сидеть хочу, goddam!» – закричал я. Они объяснили, что им так неловко нести, тяжело... «А, тяжело? мне что за дело: взяли, так несите». Но чуть я задумывался, ладонь осторожно пыталась, как будто незаметно от меня самого, опрокинуть меня. Мне надоело это, и я пошел пешком. «Зима – хороша зима!» – думал я, скидая жакетку. А консул советовал еще надеть пальто, говорил, что в горах воздух холоден. Как не холоден – печет!

Проводники вдруг остановились у какого-то домика, что-то крикнули, и нам вынесли кружки три вина. Подают и мне – как не попробовать: ведь это мадера, еще и прямо из источника! Точно, мадера; но что за дрянь! должно быть, молодое вино. Я отдал кружку назад. Проводники поклонились мне и мгновенно осушили свои кружки, а двое мальчишек, которые бежали рядом с паланкином и на гору, выпили мою. Все это, конечно, на мой счет, потому что, подав кружки, португалец обратился ко мне с словами: «One shilling, signor». Из-за забора выглядывала виноградная зелень, но винограда уже не было ни одной ягоды: он весь собран давно. Меня понесли дальше; с проводников ручьями лил пот. «Как же вы пьете вино, когда и так жарко?» – спросил я их с помощью мальчишек и посредством трех или четырех языков. «Вино-то и помогает: без него устали бы», – отвечали они и, вероятно на основании этой гигиены, через полчаса остановились на горе у другого виноградника и другой лавочки и опять выпили.

Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа, как на бобах – на иных зеленая, на других желтая. «Что это такое?» – спросил я. «Бананы», – говорят. «Бананы! тропический плод! Дайте, дайте сюда!» Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил – кожа слезает почти от прикосновения; попробовал – не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного и на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или с своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами он – *ragueni*. Я заплатил шиллинг и пошел к носилкам; но хозяин лавочки побежал за мной и

совал мне всю связку. «Не надо!» – сказал я. «Вы заплатили за всю, signor! так надо», – говорил он и положил связку в носилки.

Мы поднимались все выше; дорога шла круче. «Что это такое?» – спрашивал я, часто встречая по сторонам прекрасные сады с домами. «English garden» («Английский сад»), – говорили проводники. На лучших местах везде были «english garden». Я входил в ворота, и глаза разбегались по прекрасным аллеям тополей, акаций, кипарисов. В тени зелени прятались дома изящной архитектуры с галереями, верандами, со всеми затеями барской роскоши; тут же были и их виноградники. Англичане здесь господа; лучшее вино идет в Англию. Между португальскими торговыми домами мало богачей. Наш консул считается значительным виноторговцем, но он живет очень скромно в сравнении с британскими негоциантами. Они торгуют не одним вином. По просьбе консула, несмотря на воскресенье, нам отперли один магазин, лучший на всем острове, и этот магазин – английский. Чего в нем нет! английские иглы, ножи и прочие стальные вещи, английские бумажные и шерстяные ткани, сукна; их же бронза, фарфор, ирландские полотна. Сожалеть ли об этом или досадовать – право, не знаю. Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни, и всюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своею гордостью как курица с яйцом и кудахтают на весь мир о своих успехах; наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт – все это досадно из рук вон.

Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными вилами, да и дорога туда не была бы так удобна; народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Недаром он говорит по-английски: даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски. Англичанин дает ему нескончаемую работу и за все платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например... Но теперь не о Китае речь.

На одной вилле, за стеной, на балконе, я видел прекрасную женскую головку; она глядела на дорогу, но так гордо, с таким холодным достоинством, что неловко и нескромно было смотреть на нее долго. Голубые глаза, льняные волосы: должно быть, мисс или леди, но никак не синьора.

Однако я устал идти пешком и уже не насильно лег в паланкин, но вдруг вскочил опять: подо мной что-то было: я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели.

Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеим сторонам. Кое-где между зелени выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима: олеандр в цвету!

Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку.

Португальцы поставили носилки на траву. «Bella vischta, signor!» – сказали они. В самом деле, прекрасный вид! Описывать его смешно. Уж лучше снять фотографию: та, по крайней мере, передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты... и того нет: под ногами нашими целое море зелени, внизу город, точно игрушка; там чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка – океан; на рейде опять игрушки – корабли, в том числе и наш.

Не хотелось уходить оттуда, а пора, да и жарко. Но я все стоял. «Bella vischta! – сказал я португальцам и потом прибавил: – Grazia», не зная, как сказать им «благодарю». Они поклонились мне, значит, поняли. Можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие

этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги и думал, что нигде лучшего не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду, да, сверх того, он будто растворен... мадерой, скажете вы? Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающей северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли в несколько сажен, и не отравляющей воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова.

Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неги воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни, а от старости разве, и то когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегают к первому знаменитому врачу – поздно: с часу на час ожидают ее кончины.

Португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса – «*sick, very sick* (очень плоха)» и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский. Капитан над портом, при посещении нашего судна, просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную.

Хороша зима! А кто ж это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гости? А там какие это цветы выглядывают из-за забора? Бывают же такие зимы на свете!

Меня понесли с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извиристою, узенькою, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались все рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками, и в этом наряде – точь-в-точь наши деревенские бабы. Мы опять остановились у виноградника; это было уже в третий и, как я объявил, в последний раз. Четвертый час – надо было торопиться к обеду. В небольшом домике, или сарае с скамьями, был хозяин виноградника или приказчик; тут же были две женщины. Мне бросилась в глаза красота одной, южная и горячая. Она была высокого роста, смугла, с ярким румянцем, с большими черными глазами и с косою, которая, не укладываясь на голове, падала на шею, – словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась.

Она была... старуха.

Прежде нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. «А *signor* не хочет вина?» – спросил хозяин. Я покачал головой. «А за здоровье синьоры?» – спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. «Вино это нехорошо; красавица лучше стоит», – сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. «Да, это не то вино, что подавали проводникам: это положительно хорошая мадера». Я с удовольствием выпил глотка два и передал кружку красавице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтоб она продолжала; она смеялась и отговаривалась; хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. «А за эту?» – сказали проводники. Я обернулся: старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку; я опять попробовал за здоровье старой португалки.

Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин, и женщины, награждая разными льстивыми эпитетами.

Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из «Фенеллы»: такая

же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще, вдобавок, были тут негры, монахи; все это покупает и продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое лицо: это наш спутник, который закупает провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. «Ах, это вы?» – сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. «А это вы? – сказал я, – что вы так невеселы?» – «Да вот поглядите, – отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил, – что это за бык? В Англии собаки больше: и десяти пудов нет». – «Ну, пойдёмте к консулу обедать, – сказал я, – и попробуем, каковы эти быки на вкус». Он вздохнул, и мы отправились.

Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша.

На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. «Сколько они просят?» – спросил я консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. «Дорого просят: три доллара, – сказал он. – Как далеко вы были? где?» Но почему я знал, где я был? Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам, и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. «Чего им?» – спросил я консула. «Пустое, не надо! – кричал консул, махая им рукой, – идите, идите! На водку еще просят. Не давайте...» – «Да они три раза взяли с меня натурою, – сказал я, – теперь вот...» Я бросил им по мелкой монете. Они быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А все на русского человека говорят, что просят на водку: он точно просит; но если поднесут, так он и не попросит; а жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку.

Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в трауре. Хозяйка представила меня старушке: «*My mother* (матушка)», – сказала она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. «Как жаль, что теперь зима! – говорила она, а муж переводил. – Ничего нет! Вот ананасы еще не успели, – и она указала на гряду известной вам зелени ананасов. – К десерту нечего подать. Одни только бананы!» Зима! Как жаль, что этакая зима! До какой степени могут избаловаться люди! «А это что? посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук!» – сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода.

Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился медицине. Я все думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального; но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски: после супа на стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякой зеленью – все явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера, красная и белая. И та, и другая превосходного качества, особенно красная, как рубин, которая называется здесь тинто. Лучше, кажется, и не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода, из сладких вин, известное под названием мальвази-мадеры. Красная мадера не имеет ни малейшей сладости; это капитальное вино и нам показалось несравненно выше белой, *madeire secco*, которую мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели.

Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат; еще были тут называемые по-английски кастард-эплъз (*custard apples*) плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по несколько плодов с собой и подержать их дня три-четыре и тогда уже есть. Мы так и сделали.

Действительно, нет лучше плода: мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется нона. Обед тянулся довольно долго, по-английски, и кончился тоже по-английски: хозяин сказал спич, в котором изъявил удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе.

Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим нам гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. Внезапно развернувшаяся перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но ласковые лица – все это было неожиданным, веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный, долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и покойнее смотрел на будущее. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море.

«Что же это? как можно?» – закричите вы на меня... «А что ж с ним делать? не послать же в самом деле в Россию». – «В стакан поставить да на стол». – «Знаю, знаю. На море это не совсем удобно». – «Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию?» Что это за жите – никогда не солги!

Но пора кончить это письмо... Как? что?.. А что ж о Мадере: об управлении города, о местных властях, о числе жителей, о количестве выделяемого вина, о торговле: цифры, факты – где же все? Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь все, что я видел в течение 10-ти или 12-ти часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел, властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника.

Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был верстах в пяти; он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса.

Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло; северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел все назад, на остров: мне хотелось навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее; казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было: тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз: она вся закуталась, как в мантию, в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину, и лежала далеко за нами темной массой; впереди довольно уже близко неслась на нас другая масса – наш корабль.

Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу; а откуда она не ходит теперь?

До свидания.

Атлантический океан.

23 января 1853.

III. ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

Норд-остовый пассат. – Острова Зеленого Мыса. – С.-Яго и Порто-Прая. – Северный тропик. – Тропическая зима. – Штилевая полоса. – Экватор. – Южный тропик и зюйд-остовый пассат. – Летучие рыбы и акулы. – Опять штиты. – Масленица. – Образ жизни на фрегате. – Купанье. – Море и небо.

(ПИСЬМО К В. Г. БЕНЕДИКТОВУ)

В поэтическом и дружеском напутствовании⁴ вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, а между тем мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг все спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется поверить, так ли далеко «слышен сердечный голос», как предсказали вы? К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших.

Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего; с другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии, разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок. Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством.

Куда же делась поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом.

Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите.

Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, я переживаю угасшее, некогда страстное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но подчас бывает досадно. Вот морская карта: она вся испещрена чертами, точками, стрелками и надписями. «В этой широте, – говорит одна надпись, – в таких-то градусах, ты встретишь такие ветры», и притом показаны месяц и число. «Там около этого времени попадешь в ураган», – сказано далее, сказано тоже, как и выйти из него: «А там иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии». Далее еще лучше: «В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу» – и точно увидишь. «В 380 южной широты и 750 восточной долготы сидят, – сказано, – птицы». – «Ну, – думаю, – уж это вздор: не сидят же они там» – и стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли: я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец, написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 230 по Реомюру в тени. И точно не показывает.

Одно только не вошло в Реперовы таблицы, не покорилось никаким выкладкам и цифрам, одного только не смог никто записать на карте...

Но дайте договориться до этих чудес по порядку, как я доехал до них.

⁴ В послании к И. А. Гончарову, напечатанной в полном собрании стихотворений Бенедиктова – примеч. Гончарова.

Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать, всего каких-нибудь миль триста! Это госпиталь Европы.

Но вот стали выходить из тридцатых градусов: все теплее и теплее. «Пар костей не ломит», – выдумали поговорку у нас; но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая, кроме тепла, ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее, тепло! Боже мой! что оно делает с человеком? как облегчит от всякой нравственной и физической тягости! точно снимет ношу с плеч и с головы, даст свободу дыханию, чувству, мысли... И так целые многие дни и ночи! Долго мы не выйдем из магического круга этого голубого, вечно сияющего лета. Подумайте, года два все будет лето: сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы, за исключением холода, дождей и туманов, насчитаем в нашем северном миньютюрном лете! «Дед, где мы теперь?» – спросил я однажды. «Я уж вам три раза сегодня говорил; не стану повторять», – ворчит он; потом, по обыкновению, скажет. «Пойдемте, – говорит, – таща меня за рукав на ют, – вон это что? глядите!..» – «Облако». – «Как не облако! посмотрите хорошенько: ну, что?» – «Туча». – «Эх вы, туча! Какая туча? остров Пальма». – «Что вы! Канарские острова!» – «Как же вы не видите?» – «Что ж делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака. Где же Тенериф?» – спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк «облака», как казалось мне. «Не увидим, – говорит дед, – мы у него на параллели, только далеко». – «Зайдем в Санта-Круц?» – «Опять зайти: часто будет! Этак никогда не доберемся до Японии». – «А под каким градусом лежит Пальма?» – «Подите посмотрите сами на карте». Я не пошел, зная, что он скажет. И в самом деле сказал. «Под 270. Ведь с вами же вчера целый час толковали». – «Забыл». – «Как же я-то не забываю?» – «На то вы дед. Да что это, пассат, что ли, дует?» – спросил я, а сам придерживался за снасть, потому что время от времени покачивало. «Кто его знает? не разберешь! – ворчал дед. – Рано бы, кажется, а похож. Вот подождем денька два-три».

Но денька два-три прошли, перемены не было: тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать пассат вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать.

Переход от качки и холода к покою и теплу был так ощутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать – о чем? о Петербурге, о Москве, о вас? Нет, сознаюсь, мечты опережали корабль. Индия, Манила, Сандвичевы острова – все это вертелось у меня в голове, как у пьяного неясные лица его собеседников.

22 января Л. А. Попов, штурманский офицер, за утренним чаем сказал: «Поздравляю: сегодня в восьмом часу мы пересекли Северный тропик». – «А я ночью озяб», – заметил я. «Как так?» – «Так, взял да и озяб: видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а «ночной зефир струил эфир» прямо на меня».

«Ну, что море, что небо? какие краски там? – слышу я ваши вопросы. – Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно – не правда ли?» – «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день...» Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чашу соснового леса с песчаной почвой, – как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех мате-

риалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления.

Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы – не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновение разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров.

Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...

Виноват, плавая в тропиках, я очутился в Чекушах и рисую чухонский пейзаж; это, впрочем, потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море – и вот мы уже в 140 «южной» широты, а небо все такое же, как у нас, то есть повыше, на зените, голубое, к горизонту зеленоватое. Тепло, как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму: в белое, а потом сознались, что если б остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 220 в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял пассат. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облаков и садилось в тучи. «Что ж это вы, дед, насажали о тропических жарах, о невиданных ночах, о Южном Кресте? Все, что мы видим, слабо...» – «Теперь зима, январь, – говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот, капавший с небритого подбородка, – вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А Южный Крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой!» – и он указал коротеньким пальцем на ванту. «Дался им этот Крест, – ворчал дед, спускаясь в люк, – выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды... Пойти-ка лучше лечь, а то еще...» – и исчез в люк.

Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то оза-ренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и прстоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять.

Море... Здесь я в первый раз понял, что значит «синее» море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере, – праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот наконец я вижу и синее море, какого вы не видали никогда.

Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод.

Как ни привыкаешь к противоположностям здешнего климата с нашим и к путанице во временах года, а иногда невольно поразишься мыслью, что теперь январь, что вы кутаетесь там в меха, а мы напрасно ищем в воде отрады.

Только Фаддеев ничем не поражается: «Тепло, хорошо!» – говорит он. Зима, зима, а палубу то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах; смола, канат тоже, железо, медь – и те под этими лучами пахнут. Видели мы пролетевшую над водой одну летучую рыбу да одну шарку, или акулу, у самого фрегата. О животных больше и помину не было. Зима все продолжалась, то есть облака плотно застилали горизонт, по вечерам иногда бывало душно, но духота разрешалась проливным дождем – и опять легко и отраднo было дышать.

Мои товарищи все доискивались, отчего погода так мало походила на тропическую, то есть было облачно, как я сказал, туманно, и вообще мало было свойств и признаков тропического пояса, о которых упоминают путешественники. Приписывали это близости африканского берега или каким-нибудь неизвестным нам особенным свойствам Гвинейского залива.

Любопытно бы было сравнить шканечные журналы нескольких мореплавателей в этих долготах, чтоб решить о том, одинаковые ли обстоятельства сопровождают плавание в большей или в меньшей долготе. Да, я забыл сказать, что мы не последовали примеру большей части мореплавателей, которые, отправляясь из Европы на юг Америки или Африки, стараются, бог знает для чего, пересечь экватор как можно дальше от Африки. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки, особенно когда идут к мысу Доброй Надежды или в Австралию, что это удлиняет только путь, тем более что зюйд-остовый пассат и без того относит суда далеко к Америке и заставляет делать значительный угол. Следуя этому основательному указанию, наш адмирал велел держаться ближе к Африке, и потому мы почти не выходили из 14 и 15° западной долготы.

Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом, и когда мы убедились, что этот ветер не случайность, а настоящий пассат и что мы уже его не потеряем, то адмирал решил остановиться на островах Зеленого Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, и именно на о. С.-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить свежие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь застали мы два американские корвета да одну шкуну, отправляющиеся в Японию же, к эскадре commodора Перри.

Ровно через неделю после прогулки на Мадере, также в воскресенье, увидели мы разбросанные на далеком расстоянии по горизонту большие и небольшие острова. Одни из них, подальше, казались темно-синими, другие, поближе, бурными массаами. Самый близкий, Сант-Яго, лежал, как громадный ком красной глины. Мы подвигались все ближе: масса обозначалась яснее, утесы отделялись один от другого, и весь рисунок острова очертился перед нами, когда мы милях в полутора бросили якорь. От Мадеры до островов Зеленого Мыса считается тысяча морских миль по меридиану. Это 1750 наших верст.

Направо утесы, налево утесы, между ними уходит в горы долина, оканчивающаяся песчаным берегом, в который хлещет бурун. У самого берега, слева от нас, виден пустой маленький островок, направо масса накиданных друг на друга утесов. По одному из них идет мощная дорога кверху, в Порто-Прайя. Пониже дороги, ближе к морю, в ущелье скал кроется как будто трава – так кажется с корабля. На берегу, в одном углу под утесами, видно здание и шалаши. Остальной берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песка, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как все это, вместе взятое, печально, скудно, голо, опалено! Пальмы уныло повесили головы; никто нейдет искать под ними прохлады: они дают столько же тени, сколько метла.

Все спит, все немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжайте через

год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы счетом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет все, что не прячется где-нибудь в ущелье, в тени утесов, когда нет дождя, а его не бывает здесь иногда по несколько лет сряду. И это же солнце вызовет здесь жизнь из самого камня, когда тропический ливень хоть на несколько часов напоит землю. Ужасно это вечное безмолвие, вечное немение, вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. Бесконечные воды расстилаются здесь, как бесконечные пески той же Африки, через которые торопливо крадется караван, боясь, чтобы жажда не застигла его в безводном пространстве. Здесь торопливо скользит по глади вод судно, боясь штилей, а с ними и жажды, и голода. Пароход забросит немногие письма, возьмет другие и спешит пройти мимо обреченной на мертвый покой страны. А какие картины неба, моря! какие ночи! Пропадают эти втуне истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло! Человек бежит из этого царства дремоты, которая сковывает энергию, ум, чувство и обращает все живое в подобие камня. Я припомнил сказки об окаменелом царстве. Вот оно: придет богатырь, принесет труд, искусство, цивилизацию, разбудит и эту спящую от века красавицу-природу и даст ей жизнь. Время, кажется, недалеко. А теперь, глядя на эту безжизненность и безмолвие, ощущаешь что-то похожее на ужас или на тоску. Ничто не шевелится тут; все молчит под блеском будто разгневанных небес. В море, о, в море совсем иначе говорит этот царственный покой сердцу! Горе жителям, когда нет дождя: они мрут с голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху только морскую соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности.

К нам приехал чиновник, негр, в форменном фраке, с галунами. Он, по обыкновению, осведомился о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия и все это тщательно, но с большим трудом, с гримасами, записал в тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил каракули. Нелегко далась ему грамота.

Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза все было поразительно: обожженные утесы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40° жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец, вечная зелень сосен, и даже 40 градусов.

На берегу теснилась куча негров и негритянок и голых ребятишек: они ждали, когда пристанет наша шлюпка. Здесь также нет пристани, как и на Мадере, шлюпка не подходит к берегу, а остается на песчаной мели, шагов за пятнадцать до сухого места. Наши матросы засучили панталоны и соскочили в воду, чтоб перенести нас, но тут же по пояс в воде стояли полунагие негры, желая оказать нам ту же услугу. Спекуляция их не должна пропадать даром: я протянул к ним руки, они схватили меня, я крепко держался за голые плечи и через минуту стоял на песчаном берегу. Там стоит небольшой пакгауз, таможенное здание, как сказали нам. Оно заперто; кругом его шалаши на четырех столбах с крышей из пальмовых листьев. «Есть ли фрукты?» – спросили мы у негров; они бросились и скрылись за утесом. Но мы не стали ждать их и пошли по мощеной дороге на гору. Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя. На море его не чувствуешь: жар умеряется ветром, зато на берегу! Гора не высока и не крута, а мы едва взошли и на несколько минут остановились отдохнуть, отирая платками лоб и виски. На горе, над портом, господствует устроенная на каменной платформе батарея. Мы пошли налево от нее в город и скоро вышли на площадь. Часовые, португальцы и мулаты, в мундирах, но босые, учтиво кланялись. Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным,

так черным как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид.

На площади были два-три довольно большие каменные дома, казенные, и, между прочим, гауптвахта; далее шла улица. В ней частные дома, небольшие, бедные, но каменные, все с жалюзи, были наглухо закрыты. Улица напоминает любой наш уездный город в летний день, когда полуденное солнце жжет беспощадно, так что ни одной живой души не видно нигде; только ребятишки безнаказанно, с непокрытыми головами, бегают по улице и звонким криком нарушают безмолвие. Все прочее спит или просто ленится. Изредка нехотя выглянет из окна какое-нибудь равнодушное лицо и опять спрячется. И на нас выглянули два-три офицера из казарм; но этим только сходство и ограничивается, а дальше уж ничего нет похожего. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху – знак владычества Португалии над группой островов. По всей площади и по улице привязано было к колодам несколько лошадей и множество ослов, большею частью оседланных деревянными седлами.

Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли втроем. «Куда это он пошел? пойдете и мы!» – предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощенный белыми каменными плитами. В углу, под навесом, привязан был осел, и тут же лежала свинья, но такая жирная, что не могла встать на ноги. Дальше бродили какие-то пестрые, красивые куры, еще прыгал маленький, с крупного воробья величиной, зеленый попугай, каких привозят иногда на петербургскую биржу.

Попугай вертелся под ногами, и кто-то из нас, может быть я, наступил на него: он затрепетал крыльями и, хромя, спотыкаясь, поспешно скрылся от северных варваров в угол. Мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж, в галерею, и потом вошли в комнату. Нас встретила пожилая дама; мы ей поклонились, она нам. Она молча указала на стулья. Мы сели и начали было с ней разговор по-английски, а она с нами по-португальски; мы по-французски, а она опять по-своему. Мы уж хотели раскланяться, но она что-то сказала нам и поспешно вышла из комнаты. Через минуту она вывела молодую, прехорошенькую девушку. Та стыдливо шла за нею и робко отвечала на наш поклон. Мы поглядывали друг на друга в недоумении... Что же это такое?

Хозяйка кое-как дала нам понять, что эта девушка говорит или понимает по-французски. Мы засыпали ее вопросами, но она или не говорила, или не понимала, или, наконец, в Порто-Прайя под именем французского разумеют совсем другой язык. Однако ж кое-как мы поняли из нескольких по временам вырывавшихся у нее французских слов, что она привезена сюда из Лисабона и еще не замужем, живет здесь с родственниками. Да Бог знает, то ли еще она сказала: это мы так растолковали ее ответы. Мы поклонились и ушли. «У кого это мы были, господа?» – спросил меня один из товарищей. «А, ей-богу, не знаю». – «Да зачем мы заходили сюда?» – приставал он ко мне. «И этого не знаю. Сюда вошел Тихменев, и мы за ним. Да кстати, где же он?» – «Да он не в этот дом вошел, а вон в тот... вон он выходит». В самом деле, Тихменев вышел из другого дома, рядом. «Плоха провизия и мало! – со вздохом сказал он, – быки, коровы не крупнее здешних ослов. Как-то мы доберемся до мыса Доброй Надежды?» Итак, мы это в качестве путешественников посетили незнакомый дом!

Тут негр предложил нам, не хотим ли мы поехать на осле или лошади.

Третий наш спутник поехал; а мы вдвоем с отцом Аввакумом пошли пешком и скоро из города вышли в деревню, составляющую продолжение его. Все это предместье состоит из глиняных мазанок, без окон. Я заглядывал туда: бедная домашняя утварь, деревянные скамьи – вот и все украшение. Негров молодых не видать: вероятно, все на работе в полях. Тут только старики и старухи, и какие безобразные! Одна особенно поразила нас безобразием; она переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет девяносто.

Лысая, с небольшими остатками седых клочков. Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лоснится, как атлас.

Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти, так что и обыкновенный взгляд их нескромен. Веко распахнется медленно и широко, глаз выкатится оттуда весь и выразит разом все, что гнездится в чувственном теле. Одеты они довольно живописно: в юбке, но без рубашки, а сверху через одно плечо накинута что-то вроде бумажной шали до колен; другое плечо и часть груди обнажены. Голова повязана платком, и очень хорошо: глазам европейца неприятно видеть короткие волосы на женской голове, да еще курчавые. Некоторые из этих дам долго шли за нами и на исковерканном английском языке (и здесь англичане – заметьте!) просили денег бог знает по какому случаю. Одеты они были не нищенски. Разве не предлагали ли они каких-нибудь услуг?.. Но мы только и могли понять из их бессвязных речей одно слово: «money». Голые ребятишки бегали; старики и старухи, одни бродили лениво около домов, другие лежали в своих хижинах. Я видел и англичан, но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях: кажется, на свои кофейные плантации... Это все богатыри, старающиеся разбудить спящую красавицу.

Мы вдвоем прошли всю деревню и вышли в поле. Деревня и город построены на самом краю утеса. По крутизне разбросаны были кое-где хижины или выходили туда садами. Мы по дороге сошли в долину; она была цветущим оазисом посреди этих желтых и серых глыб песку. Чего в ней не растет? И все было ново нам: мы знакомились с декорацией не наших деревьев, не нашей травы, кустов и жадно хотели запомнить все: группировку их, отдельный рисунок дерева, фигуру листьев, наконец, плоды; как будто смотрели на это в последний раз, хотя нам только это и предстояло видеть на долгое время. Из плодов видели фиги, кокосы, много апельсиновых деревьев, но без апельсинов, цветов вовсе почти не видать; мало и насекомых, все по случаю зимы. Я видел только одну пролетевшую птицу, величиной с галку, с длинным голубым хвостом. Мы прошли эту рощу или сад – сад потому, что в некоторых местах фруктовые деревья были огорожены; кое-где видел я шалаши, и в них старые негры стерегли сад, как и у нас это бывает. За рощей, дальше, простирались поля, частью возделанные, частью пустые; кое-где виден лес. Но мы ограничили свою прогулку долиною: дальше идти было жарко.

Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору, останавливались перед разными деревьями. На берегу застали живую сцену.

Многие негры натаскали корзин с апельсинами, другие успели устроить кресла на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои козыри! Если б не эти черные, лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакейскую. Я пригляделся к игре – нет сомнения: свои козыри. Вон один из играющих, не имея чем покрыть короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе, а другие оскалили белые зубы. Я посмотрел на прочие группы и поскорей отвернулся. Две негрятки, должно быть сестры: одна положила голову на колени другой, а та... Да вы видали эти сцены, проезжая в летний день дорогой наши села... Некоторые из негров бранились между собой – и это вы знаете: попробуйте остановиться в Москве или Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного: как все это закричит и завоюет! То же и здесь, да и везде, как кажется. Ссоры эти были напрасны: сколько они ни принесли апельсинов, мы все купили. Меня эти апельсины прежде всего поразили своей величиной: к нам таких не привозят. А съевши один апельсин, я должен был сознаться, что хороших апельсинов до этой минуты никогда не ел. Может быть, это один попался удачный, думал я, и взял другой: и другой такой же, и – третий: все как один.

Пока я производил эти сравнительные опыты любознательности, с разных сторон сходились наши спутники и принялись за то же самое. От одной прогулки все измучились, изнурились; никто не был похож на себя: в поту, в пыли, с раскрасневшимися и загорелыми лицами; но все как нельзя более довольные: всякий видел что-нибудь замечательное. Я решился купить у старой негрятки (я всегда, где можно, отдаю предпочтение дамам) всю корзину апельси-

нов. Она из другой корзинки выбрала еще несколько самых лучших апельсинов и хотела мне подарить. «Present, present», – твердила она. Но я не хотел уступить ей в галантерейном обращении и стал вынимать из кармана деньги, чтоб заплатить и за эти. Она ужасно рассердилась и взяла было назад и первую корзину. Она болтала немного по-английски и называла меня синьор француз. О русских она не слыхала. Тут же, у самого берега, купались наши матросы, иногда выходили на берег и, погревшись на солнце, шли опять в воду, но черные дамы не обращали на это ни малейшего внимания: видно, им не в первый раз.

Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в памяти. Берег постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи, собравшиеся около капли меду; двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно старуха, но подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката.

Шлюпка наша уже приставала к кораблю, когда вдруг Савич закричал с палубы гребцам: «Живо, скорей, ступайте туда, вон огромная черепаха плавает поверх воды, должно быть спит, – схватите!» Мы поворотили, куда указал Савич, но черепаха проснулась и погрузилась в глубину, и мы воротились ни с чем. Если б остановка была продолжительнее, можно было бы осмотреть здешние соляные бассейны. Добывание соли – главный промысел островов. Бассейны во время приливов наполняются морской водой, которая, испаряясь от жара, оставляет обильный осадок соли. Жители добывают еще какую-то растительную краску, разводят немного кофе, сахарного тростника, хлопчатой бумаги, но все-таки очень бедны.

На другой день мы ушли дальше. Давно уже дед грозил нам штилевой полосой, которая опоясывает землю в нескольких градусах от экватора. Штили, а не бури – ужас для парусных судов. А я перед тем только что заглянул в Араго и ужаснулся, еще не видя ничего. В самом деле, каково простоять месяц на одном месте, под отвесными лучами солнца, в тысячах миль от берега, томиться от голода, от жажды? Припомнишь все сцены ужаса, какими сопровождались подобные события... 29-го января в 30 северной широты мы потеряли пассат и вошли в роковую полосу. Вместо десяти узлов, то есть семнадцати верст, пошли по два, по полтора узла. Ветер иногда падал совсем, и безветренные паруса тоже падали, хлопая о мачты. Мы вопросительно озирались вокруг, а небо, море сияют нестерпимым блеском, точно смеются, как иногда смеется сильная злоба над немощью. Встанем утром: «Что, идем?» Нет, ползем по полуторы, по две версты в час. Море колыхается целой массой, как густой расплавленный металл; ни малейшей чешуи, даже никакого всплеска. Мы думали, что бездействие ветра протянется долгие дни, но опасения наши оправдались не здесь, а гораздо южнее, по ту сторону экватора, где бы всего менее должно было ожидать штилей. 31-го января паруса зашевелились поживее, повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в 10 северной широты задул и ожидаемый SO, пассат. Мы были у самого экватора. 2-го февраля, ложась вечером спать, я готовился наутро присутствовать при перехождении через экватор. Но 3-го числа, в 8 часов утра, дед донес начальству, что мы уже в южном полушарии: в пять часов фрегат пересек экватор в 18° западной долготы. Мы все, однако ж, высыпали наверх и вопросительно смотрели во все стороны, как будто хотели видеть тот деревянный ободочек, который, под именем экватора, опоясывает глобус.

Все были погружены в раздумье. П. А. Тихменев, облокотясь на гик, смотрел вдаль. Все заняты экватором. «Ну что, Петр Александрович: вот мы и за экватор шагнули, – сказал я ему, – скоро на мысе Доброй Надежды будем!» – «Да, – отвечал он, глубоко вздохнув и равнодушно поглядывая на бирюзовую гладь вод, – оно, конечно, очень приятно... А есть ли там дрожжи?» Ну можно ли усерднее заботиться об исполнении своей обязанности, как бы она

священна ни была, как, например, обязанность о продовольствии товарищей? Добрый Петр Александрович! Вдруг глаза его заблестали необыкновенным блеском: я думал, что он увидел экватор. Он протянул и руку. «Опять кто-то бананы поел! – воскликнул он в негодовании, – верно, Зеленый, он сегодня ночью на вахте стоял». На ночь фрукты развешивали для свежести на палубе, и к утру всегда их несколько убывало. Тихменев производил строгое следствие, но, кроме лукавых улыбок, никогда ничего добиться не мог.

*Пересеки и тропик, и экватор,
И отпируй сей праздник моряков!..*

– предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич: я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было. Матросы наши мифологии не знают и потому не только не догадались вызвать Нептуна, даже не поздравили нас со вступлением в его заветные владения и не собрали денежную или винную дань, а мы им не напомнили, и день прошел скромно. Только ночью капитан пригласил нас к себе ужинать. Почетным гостем был дед: не впервые совершал он этот путь, и потому бокал теплого шампанского был выпит за его здоровье. «Сколько раз вы пересекли экватор?» – спросили мы его. «Одиннадцать раз», – отвечал он. «Хвастаете, дед: ведь вы три раза ходили вокруг света: итого шесть раз!» – «Так; но однажды на самом экваторе корабль захватили штиты и нас раза три-четыре перетаскивало то по ту, то по эту сторону экватора».

На шкуне «Восток», купленной в Англии и ушедшей вместе с нами, справляли, как мы узнали после, Нептуново торжество. Я рад, что у нас этого не было. Ведь как хотите, а праздник этот – натяжка страшная. Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других; а когда он шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко. Если ж смотреть на это как на повод к развлечению, на случай повеселиться, то в этом и без того недостатка не было. Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья, Бог знает от каких радостей, и сопровождаемой исступленной пляской, или послышатся столь известные вам, хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. И все это вместе, без промежутка: и дикий разгул, топот трепака, и исторические рыдания заглушают плеск моря и скрип снастей. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели торжество Нептуна: по крайней мере в нем не было аффектации, особенно когда прибавлялась к этому лишняя, против положенной от казны, чарка. В этом недостатка на кораблях не бывает: за всякую послугу, угождение матроса офицер платит чаркой водки. Съедет ли он по своей надобности на берег, по возвращении дает гребцам по чарке водки и т. п. Таким образом этих чарок набирается много и они выпиваются при удобном случае.

Плавание в южном полушарии замедлялось противным зюйд-остовым пассатом; по меридиану уже идти было нельзя: диагональ отводила нас в сторону, все к Америке. 6-7 узлов был самый большой ход. «Ну вот вам и лето! – говорил дед, красный, весь в поту, одетый в прюнелевые ботинки, но, по обыкновению, застегнутый на все пуговицы. – Вот и акулы, вот и Южный Крест, вон и «Магеллановы облака» и «Угольные мешки!» Тут уж особенно заметно целыми стаями начали реять над поверхностью воды летучие рыбы.

Я забыл посмотреть на магнитную стрелку, когда мы проходили магнитный экватор, отстоящий на три градуса от настоящего. Находясь в равном расстоянии от обоих полюсов, стрелка ложится будто бы там параллельно экватору, а потом, по мере приближения к Южному полюсу, принимает свое обыкновенное положение и только на полюсе становится совершенно вертикально. Так ли это, Владимир Григорьевич? Вы любите вопрошать у самой природы о ее

тайнах: вы смотрите на нее глазами и поэта, и ученого... в 110 солнце осталось уже над нашей головой и не пошло к югу. Один из рулевых матрос с недоумением донес об этом штурману. 14-го февраля начались те штили, которых напрасно боялись у экватора.

Опять пошли по узлу, по полтора, иногда совсем не шли. Сначала мы не тревожились, ожидая, что не сегодня, так завтра задует поживее; но проходили дни, ночи, паруса висели, фрегат только качался почти на одном месте, иногда довольно сильно, от крупной зыби, предвещавшей, по-видимому, ветер. Но это только слабое и отдаленное дуновение где-то, в счастливом месте, пронесшегося ветра. Появлявшиеся на горизонте тучки, казалось, несли дождь и перемену: дождь точно лил потоками, непрерывный, а ветра не было.

Через час солнце блистало по-прежнему, освещая до самого горизонта густую и неподвижную площадь океана.

Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия: оставленная на столе книга, чернильница, стакан не трогались; вы ложились без опасения умереть под тяжестью комода или полки книг; но сорок с лишком дней в море! Берег сделался господствующею нашею мыслью, и мы немало обрадовались, вышедши, 16-го февраля утром, из Южного тропика.

Рассчитывали на дующие около того времени вестовые ветры, но и это ожидание не оправдалось. В воздухе мертвая тишина, нарушаемая только хлопаньем грота. Ночью с 21 на 22 февраля я от жара ушел спать в кают-компанию и лег на диване под открытым люком. Меня разбудил неистовый топот, вроде трепака, свист и крики. На лицо упало несколько брызг. «Шквал! – говорят, – ну, теперь задует!» Ничего не бывало, шквал прошел, и фрегат опять задремал в штиле.

Так дождались мы масленицы и провели ее довольно вяло, хотя Петр Александрович делал все, чтобы чем-нибудь напомнить этот веселый момент русской жизни. Он напек блинов, а икру заменил сардинами. Сливки, взятые в Англии в числе прочих презервов, давно обратились в какую-то густую массу, и он убедительно просил принимать ее за сметану. Песни, напоминавшие татарское иго, и буйные вопли quasi-веселья оглашали более нежели когда-нибудь океан. Унылые напевы казались более естественными, как выражение нашей общей скуки, порождаемой штилями. Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; я и думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт.

Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц.

В этой, по-видимому, сонной и будничной жизни выдалось, однако ж, одно необыкновенное, торжественное утро. 1-го марта, в воскресенье, после обедни и обычного смотра команде, после вопросов: всем ли она довольна, нет ли у кого претензии, все, офицеры и матросы, собрались на палубе. Все обнажили головы: адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого.

Потом опять все вошло в обычную колею, и дни текли однообразно. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и все прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют

над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной. Скоро обедать; а что будет за обедом? Кстати, Тихменев на вахте: спросить его.

«Что сегодня, Петр Александрович?» Он только было разинул рот отвечать, как вышел капитан и велел поставить лиселя. Ему показалось, что подуло немного посвежее. «На лисель-фалы!» – командует Петр Александрович детским басом и смотрит не на лисель-фалы, а на капитана. Тот тихонько улыбается и шагает со мной по палубе. Вот капитан заметил что-то на баке и пошел туда. «Что ж за обедом?» – спросил я Петра Александровича, пользуясь отсутствием капитана. «Суп с катышками, – говорит Петр Александрович. – Вы любите этот суп?» – «Да ничего, если зелени побольше положить!» – отвечаю я. «Рад бы душой, – продолжает он с свойственным ему чувством и красноречием, – поверьте, я бы всем готов пожертвовать, сна не пожалею, лишь бы только зелени в супе было побольше, да не могу, видит Бог, не могу... Ну так и быть, для вас... Эй, вахтенный! поди скажи Карпову, чтоб спросил у Янцева еще зелени и положил в суп. Видите, это для вас, – сказал он, – пусть бранят меня, если не достанет зелени до мыса Доброй Надежды!» Я с чувством пожал ему руку. «А еще что?» – нежно спросил я, тронутый его добротой. «Еще... курица с рисом...» – «Опять!» – горестно воскликнул я. «Что делать, что мне делать – войдите в мое положение: у меня пяток баранов остался, три свиньи, пятнадцать уток и всего тридцать кур: изо ста тридцати – подумайте! ведь мы с голоду умрем!» Видя мою задумчивость, он не устоял. «Завтра, так и быть, велю зарезать свинью...» – «На вахте не разговаривают: опять лисель-спирт хотите сломать!» – вдруг раздался сзади нас строгий голос воротившегося капитана. «Это не я-с, это Иван Александрович!» – тотчас же пожаловался на меня Петр Александрович, приложив руку к козырьку. «Поправь лисель-фал!» – закричал он грозно матросам. Капитан опять отвернулся. Петр Александрович отошел от меня. «Вы не досказали!» – заметил я ему. Он боязливо поглядел во все стороны. «Жаркое – утка, – грозно шипел он через ют, стараясь не глядеть на меня, – пирожное...» Белая фуражка капитана мелькнула близ юта и исчезла. «Пирожное – оладьи с инбирным вареньем... Отстаньте от меня: вы все в беду меня вводите!» – с злобой прошептал он, отходя от меня как можно дальше, так что чуть не шагнул за борт. «Десерта не будет, – заключил он почти про себя, – Зеленый и барон по ночам все поели, так что в воскресенье дам по апельсину да по два банана на человека». Иногда и не спросишь его, но он сам не утерпит. «Сегодня я велел ветчину достать, – скажет он, – и вынуть горошек из презервов» – и т. д. доскажет снисходительно весь обед.

После обеда, часу в третьем, вызывались музыканты на ют, и мотивы Верди и Беллини разносились по океану. Но после обеда лениво слушали музыку, и музыканты вызывались больше для упражнения, чтоб протверживать свой репертуар. В этом климате сиеста необходима; на севере в самый жаркий день вы легко просидите в тени, не устанете и не изнеможете, даже займетесь делом. Здесь, одетые в легкое льняное пальто, без галстука и жилета, сидя под тентом без движения, вы потеряете от томительного жара силу, и как ни бодритесь, а тело клонится к дивану, и вы во сне должны почерпнуть освежение организму.

Природа между тем доживала знойный день: солнце клонилось к горизонту.

Смотришь далеко, и все ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и молчали, потому что нечего было сообщить друг другу. Выскочит разве стая летучих рыб и, как воробьи, пролетит над водой: мгновенно все руки протянутся, глаза загорятся. «Смотрите, смотрите!» – закричат все, но все и без того смотрят, как стадо бонитов гонится за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление – и все исчезнет, и опять хоть шаром покати. Сон и спокойствие объедают море и небо, как идеал отрадной, прекрасной, немучительной смерти, какую хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку.

Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу, так поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина оковывает мысль и чувство: все молчит и не колыхнется и в душе, как вокруг. «Что-то плывет!» – вдруг однажды сказал один из нас, указывая вдаль, и все стали смотреть по указанному направлению. Некоторые сбегали за зрительными трубами. «Да, – подтвердил другой, – я вижу черную точку». Молчание. Точка увеличивалась. «Ящик какой-то», – говорят потом. «Ящик... Боже мой! что в нем?» Дыхание замирает от ожидания. Воображение рисует бог знает что. Ящик все ближе и ближе. «Курятник!» – воскликнул один. Молчание. «Да, точно, курятник, – подтвердил другой, взглядевшись окончательно, – верно, на каком-нибудь судне вышли куры, вот и бросили курятник за борт». – «Позвольте, – заметил один скептик, – не от лимонов ли это ящик?» – «Нет, – возразил другой наблюдатель, – видите, он с решеткой».

И долго провожали мы глазами проплывавший мимо нас курятник, догадываясь и рассуждая, брошенный ли это по необходимости ящик или обломок сокрушившегося корабля.

Часу в пятом купали команду. На воду спускали парус, который наполнялся водой, а матросы прыгали с борта, как в яму. Но за ними надо было зорко смотреть: они все старались выпрыгнуть за пределы паруса и поплавать на свободе, в океане. Нечего было опасаться, что они утонут, потому что все плавают мастерски, но боялись акул. И так однажды с марса закричал матрос: «Большая рыба идет!» К купальщикам тихо подкрадывалась акула; их всех выгнали из воды, а акуле сначала бросили бараньи внутренности, которые она мгновенно проглотила, а потом кольнули ее острогой, и она ушла под киль, оставив следом по себе кровавое пятно. Около нее, как змеи, виляли в воде всегда сопровождающие ее две или три рыбы, прозванные лоцманами. Петр Александрович во время купанья тоже являлся усердным действующим лицом. Как ротный командир, он носился по всем палубам и побуждал ленивых матросов лезть в воду. «Пошел, пошел, – кричал он, – что ты не раздеваешься? А где Витул, где Фаддеев? марш в воду! позвать всех коков (поваров) сюда и перекупать их!» В шестом часу, по окончании трудов и съесты, общество плователей выходило наверх освежиться, и тут-то широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновениям науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его, нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы, где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорей сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух, который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас, этот блеск неба в его фантастическом неопisanном уборе, эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце? Океан в золоте или золото в океане, багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вечный, непрерывный пожар без дыма, без малейшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря – не мертвый и сонный покой: это покой как будто удовлетворенной страсти, в котором небо и море, отдыхая от ее сладостных мучений, любят друг друга. Солнце уходит, как осчастливленный любовник, оставивший долгий, задумчивый след счастья на любимом лице.

На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей – все из облаков. Вот, смотрите, громада исполинской крепо-

сти рушится медленно, без шума; упал один бастион, за ним валится другой; там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая башня, и опять все тихо отливается в форму горы, островов с лесами, с куполами. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается, и на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на воздушной почве; из огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины; плеча еще целы, а бока уже отпали, и вышла голова верблюда; на нее напирает и поглощает все собою ряд солдат, несущихся целым строем.

Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо, нежно и лениво ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтоб слиться в фантастической игре...

Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса! Посмотрите: фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром; прошло еще мгновение, и сквозь нее проступает темно-зеленый, яшмовый оттенок: он в свою очередь овладел небом.

А замки, башни, леса, розовые, палевые, коричневые, сквозят от последних лучей быстро исчезающего солнца, как освещенный храм... Вы недвижны, безмолвны, млеете перед радужными следами солнца: оно жарким прощальным лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы не отводите взора; вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя.

Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах, если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастья в лаборатории природы...

Солнце не успело еще догореть, вы не успели еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад: на западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз: звезды и звезды, и между ними скромно и ровно сияет Южный Крест! Темнота, как шапка, накрыла вас: острова, башни, чудовища – все пропало. Звезды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает все больше и больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и – засиял вечерний пир! Новые силы, новые думы и новая нега проснулись в душе. Опять, как вчера, она ищет в огнях – разума, жадно читает огненные буквы и порывается туда...

Но вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь, гордо сияет белым блеском и не воспета, как у нас, поэтами, следовательно, девственна. Это не зрелая, увядшая красавица, а бодрая, полная сил, жизни и строгого целомудрия дева, как сама Диана. Хлынул по морю и по небу ее пронзительный свет; она усмирила дерзкое сверканье звезд и воцарилась кротко и величаво до утра. А океан, вы думаете, заснул? Нет; он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены, объята сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокаиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно. Южный Крест... Случалось ли вам (да как не случилось поэту!) вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой долго жужжали вам в уши, и не найти в ней ничего поражающего? «Что же в ней особенного? – говорите вы, с удивлением всматриваясь в женщину, – она проста, скромна, ничем не отличается...» Всматриваетесь долго-долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем

особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза.

Наступает, за знойным днем, душно-сладкая, долгая ночь с мерцанием в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев! Только фрегат напряженно движется и изредка простонет да хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснет волна – и опять все торжественно и прекрасно-тихо!

Смотрите вы на все эти чудеса, миры и огни, и, ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и счастливые небывалыми грезами, стоите, как статуя, и шепчете задумчиво: «Нет, этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учителя; говорило, но бледно и смутно, только одно чуткое поэтическое чувство; оно таинственно манило меня еще ребенком сюда и шептало:

Вот Азия, мир праотца Адама,
Вот юная Колумбова земля!
И ты свершишь плавучие наезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста...

Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, – а я винюсь в своем бессилии и умолкаю!

Март 1853 года.

Атлантический океан.

IV. НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Приход в Falsebay. – Саймонсбей и Саймонстоун. – Поправки на фрегате. – Капштат. – «Welch's hotel». – Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик. – Ботанический сад. – Клуб. – Англичане, голландцы, малайцы, готтентоты и негры. – Краткий исторический очерк Капской колонии и войн с кафрами. – Поездка по колонии. – Соммерсет. – Стелленбош. – Ферма Эльзенборг. – Паарль.

– Веллингтон. – Мистер Бен. – Тюрьмы и арестанты. – Дороги. – Ущелье. – Устер. – Минеральные ключи. – Обратный путь. – Змеиная горка. – Птица секретарь. – Винберг. – Кафрский предводитель Сейоло. – Отплытие.

С 10 марта по 12 апреля 1853.

Хотя наш плавающий мир довольно велик, средств незаметно проводить время было у нас много, но все плавать да плавать! Сорок дней с лишком не видали мы берега. Самые бывалые и терпеливые из нас с гримасой смотрели на море, думая про себя: скоро ли что-нибудь другое? Друг на друга почти не глядели, перестали заниматься, читать. Всякий знал, что подадут к обеду, в котором часу тот или другой ляжет спать, даже нехотя заметишь, у кого сапог разорвался или панталоны выпачкались в смоле.

Я писал вам, что нас захватили штیلی в Южном тропике; после штілей наконец засветело, да ведь как! Опять пошло свое: ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком! Это было в четверг, в начале марта. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник. Море к берегу вдруг изменилось: из синего обратилось в коричнево-зеленоватое, как ботвинье. Это от морских растений, от капусты, трав, животных и т. п. В одну из ночей оно необыкновенно блистало фосфорическим светом. Какой вид! Когда обливаешься вечером, в темноте, водой, прямо из океана, искры сыплются, бегут, скользят по телу и пропадают под ногами, на палубе. Это мелкие животные, называемые, кажется, медузами. Море уже отзывалось землей, несло на себе ее следы; бешено кидаясь на берега, оно оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. А какая бездна невидимых и неведомых человеку тварей движется и кипит в этой чаше, переполненной жизнью! Тут пока преприлежно изведывали их альбатросы, чайки и морские ласточки, летавшие низко над водой. Эти птицы одни оживляют море: мы видели их иногда на расстоянии 500 миль от ближайшего берега. Между ними много так называемых у нас «глупышей», больших птиц, с тонкими, стройными, пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле, у них глуповата физиономия. Они безвкусны, жестки, летают над самым кораблем и часто зацепляют крыльями за паруса.

7-го или 8-го марта, при ясной, теплой погоде, когда качка унялась, мы увидели множество какой-то красной массы, плавающей огромными пятнами по воде. Наловили ведра два – икры. Недаром видели стаи рыбы, шедшей незадолго перед тем тучей под самым носом фрегата. Я хотел продолжать купаться, но это уже были не тропики: холодно, особенно после свежего ветра. Фаддеев так с радости и покатился со смеху, когда я вскрикнул, лишь только он вылил на меня ведро.

9-го мы думали было войти в Falsebay, но ночью проскользнули мимо и очутились миль за пятнадцать по ту сторону мыса. Исполинские скалы, почти совсем черные от ветра, как зубцы громадной крепости, ограждают южный берег Африки. Здесь вечная борьба титанов – моря, ветров и гор, вечный прибой, почти вечные бури. Особенно хороша скала Hangklip. Вершина ее нагибается круто к середине, а основания выдается в море. Вершины гор состоят из песчаника, а основания из гранита.

Наконец 10 марта, часу в шестом вечера, идучи снизу по трапу, я взглянул вверх и остолбенел: гора так и лезет на нас. «Мы на мели?» – спросил я деда. «Что вы! Бог с вами: типун бы вам на язык – на якорь становимся!» В самом деле скомандовали: «Из бухты вон!», потом: «Отдай якорь!» Раздался минутный гром рванувшейся цепи, фрегат дрогнул и остановился. Мы стали в полутора верстах от берега, но он состоял из горы, и она показалась мне так высока, что скрадывала расстояние, подавляя высотой дома и церкви Саймонстоуна. А после, когда я увидел Столовую гору, эта мне показалась пригорком. К нам наехали, по обыкновению, разные лица, с рекомендательными письмами от датских, голландских и прочих кораблей, портные, прачки мужеского пола и т. п.

Саймонсбей – это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В нее надо войти умеючи, а то как раз стукнешься о камень, которые почему-то называются римскими, или о Ноев ковчег, большой, плоский, высывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саженьях от берега, который тоже весь усеян более или менее крупными камнями. Начиная с апреля суда приходят сюда; и те, которые стоят в Столовой бухте, на зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонская бухта защищена со всех сторон горами.

Лишь только мы стали на якорь, одна из гор, с правой стороны от города, накрылась облаком, которое плотно, как парик, легло на вершину. А по другому, самому высокому утесу медленно ползало тоже облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежат домов до сорока английской постройки; между ними видны две церкви, протестантская и католическая. У адмиралтейства английский солдат стоит на часах, в заливе качается английская же эскадра. В одном из лучших домов живет начальник эскадры, коммодор Тальбот.

Скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Сады из кедров, дубов, немножко тополей, немножко виноградных трельяжей, кое-где кипарис и мирт да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни обратились в древесину, – вот и все. Голо, уединенно, мрачно. В городе, однако ж, есть несколько весьма порядочных лавок; одну из них, помещающуюся в отдельном домике, можно назвать даже богатою.

Спутники мои беспрестанно съезжали на берег, некоторые уехали в Капштат, а я глядел на холмы, ходил по палубе, читал было, да не читается, хотел писать – не пишется. Прошло дня три-четыре, инерция продолжалась.

Однажды наши, приехав с берега, рассказывали, что на пристани к ним подошел старик и чисто, по-русски, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие». – «Кто ты такой? откуда?» – спросил наш офицер. «Русский, – отвечал он, – в 1814 году взят французами в плен, потом при Ватерлоо дрался с англичанами, взят ими, завезен сюда, женился на черной, имею шестерых детей». – «Откуда ты родом?» – «Из Орловской губернии». Но от него трудно было добиться других сведений – так дурно говорил он уже по-русски. Наш фрегат обнажили, спустили рангоут, сняли ванты – и закипела работа. Шлюпки беспрестанно ездили на берег и обратно. П. А. Тихменев, успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычьей ногой и арбузами.

«Где мы?» – спросил я однажды, скуки ради, Фаддеева. Он косо и подозрительно поглядел на меня, предвидя, что вопрос сделан даром. «Не могу знать», – говорил он, оглядывая с своим равнодушием стены. «Это глупо не знать, куда приехал». Он молчал. «Говори же». – «Почем я знаю?» – «Что ж ты не спросишь?» – «На что мне спрашивать?» – «Воротишься домой, спросят, где был; что ты скажешь? Слушай же: я тебе скажу, да смотри, помни. Откуда мы приехали сюда?» Он устремил на меня глаза, с намерением во что бы ни стало понять, чего я хочу, и по возможности удовлетворить меня; а мне хотелось навести его на какое-нибудь сооб-

ражение. «Откуда приехали?» – повторил он вопрос. «Ну да?» – «Из Англии». – «А Англия-то где?» Он еще больше косо стал смотреть на меня. Я вижу, что мой вопрос темен для него. «Где Франция, Италия?» – «Не могу знать». – «Ну, где Россия?» – «В Кронштадте», – проворно сказал он. «В Европе, – поправил я, – а теперь мы приехали в Африку, на южный ее край, на мыс Доброй Надежды». – «Слушаю-с». – «Помни же!» И географический урок Фаддееву был развлечением среди гор, песков, в захолустье. На фрегате сильно работали: везде лежали снасти, реи; прохода нет. Только на юте и можно было ходить; там по временам играла музыка. Мы лорнировали берег, удили рыбу, и, между прочим, вытащили какую-то толстенькую рыбу с круглой головкой, мягкую, без чешуи; брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. Ее посадили в кадку. Приехал кто-то из англичан и, увидев ее, торопливо предупредил, чтоб не ели. «Это ядовитая, – сказал он, – от нее умирают через пять, десять минут. Были примеры: однажды отравилось несколько человек с голландского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег, повертятся, повертятся, потом и околеют». Вытаскивали много отличной, вкусной рыбы, похожей видом на леща; еще какой-то красной, потом плоской; разнообразие рыбных пород неистоцимо. Еще нам к столу навезли превосходного винограду, весьма посредственных арбузов и отличных крупных огурцов.

На четвертый день и я собрался съехать на берег с нашими докторами и с бароном Крюднером. Первые собрались ботанизировать, а мы с бароном Крюднером – мешать им. По берегам кое-где были разбросаны камни, но такие, что из каждого можно построить препорядочный домик. Когда я собрался ехать, и Фаддеев явился ко мне: «Позвольте и мне с вами, ваше высокоблагородие», – сказал он. «Куда?» – «Да в Африку-то», – отвечал он, помня мой урок. «Что ты станешь там делать?» – «А вон на ту гору охота влезть!» Ступив на берег, мы попали в толпу малайцев, негров и африканцев, как называют себя белые, родившиеся в Африке. Одни работали в адмиралтействе, другие празднично глядели на море, на корабли, на приезжих или просто так, на что случится. За нами шли наши слуги; кто нес ружье, кто сетку ловить насекомых, кто молоток – разбивать камни. «Смотрите, – говорили мы друг другу, – уже нет ничего нашего, начиная с человека; все другое: и человек, и платье его, и обычай». Плетни устроены из кустов кактуса и алоэ: не дай Бог схватиться за куст – что наша крапива! Не только честный человек, но и вор, даже любовник, не перелезут через такой забор: миллион едва заметных глазу игл вонзится в руку. И камень не такой, и песок рыжий, и травы странные: одна какая-то кудрявая, другая в палец толщиной, третья бурая, как мох, та дымчатая. Пошли за город, по мелкому и чистому песку, на взморье: под ногами хрустели раковинки. «Все не наше, не такое», – твердили мы, поднимая то раковину, то камень. Промелькнет воробей – гораздо наряднее нашего, франт, а сейчас видно, что воробей, как он ни франт. Тот же лет, те же манеры, и так же копается, как наш, во всякой дряни, разбросанной по дороге. И ласточки, и вороны есть; но не те: ласточки серее, а ворона чернее гораздо. Собака залаяла, и то не так, отдает чужим, как будто на иностранном языке лает. По улицам бегали черномазые, кудрявые мальчишки, толпились черные или коричневые женщины, малайцы в высоких соломенных шляпах, похожих на колокола, но с более раздвинутыми или поднятыми несколько кверху полями.

Только свинья так же неопрятна, как и у нас, и так же неистово чешет бок об угол, как будто хочет своротить весь дом, да кошка, сидя в палисаднике, среди мирт, преусердно лижет лапу и потом мажет ею себе голову. Мы прошли мимо домов, садов, по песчаной дороге, миновали крепость и вышли налево за город.

Нас предупреждали, чтоб мы не ходили в полдень близ кустов: около этого времени выползают змеи греться на солнце, но мы не слушали, шевелили палками в кустах, смело прокладывая себе сквозь них дорогу. Змеи, кажется, еще более остерегаются людей, нежели люди их. Я видел только ящерицу, хотел прижать ее тростью на месте, но зеленая тварь с непостижимым проворством скользнула в норку. По одной дороге с нами шли три черные женщины. Я спросил одну, какого она племени: «Финго!» – сказала она, – мозамбик, – закричала потом, –

готтентот!» Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных женщин. Если пройдете мимо – ничего; но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. «Бичуан! Кафр!» – продолжала кричать нам баба. В самом деле баба. Одеты, как наши бабы: на голове платок, около поясицы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины из коричневых племен поразительно сходны с нашими загорелыми деревенскими старухами; зато черные ни на что не похожи: у всех толстые губы, выдавшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое.

Мы нашли целый музей между камнями, в которые яростно бьет прибой: раковин, моллюсков, морских ежей и раков. Слизняки так прирастают к камням, что нет возможности отодрать их. Они эластичны: только пожмешь, из них фонтанами брызжет вода. Морской еж – это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая, травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками. Наш любитель-натуралист набрал их множество, сверх того, цветов, прутьев, листьев, раковин. Раковины, однако ж, были так себе, простоваты. Между тем в отеле я видел великолепные, разноцветные и огромные раковины. «Это здешние?» – спросил я. «Нет, – отвечали мне, – с острова Св. Маврикия». Я заметил, что куда ни приедешь, найдешь что-нибудь замечательное; спросишь, откуда оно, всегда укажут дальше, вперед, а иногда назад. В Капштате я увидел в табачном магазине футлярчики для спичек, точеные из красивого, двухцветного дерева. Я сейчас же купил несколько на память о мысе Доброй Надежды. Я спросил, как зовут дерево? «Бокс», – сказал англичанин. «А откуда оно?» – «Из Англии», – отвечал он. На острове Св. Маврикия, пожалуй, скажут, что раковины из Парижа. Впрочем, здесь, как в целом мире, есть провинциальная замашка выдавать свои товары за столичные. Что ни спросишь: шляпу, сапоги – это из Лондона! – отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске «Портной из Нижнего». Табачник думал, что бог знает как утешит меня, выдав свой товар за английский.

Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю гостиницу «Fountain hotel»: дом голландской постройки с навесом, в виде балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы. Потолок в комнатах был из темного дерева, привозимого с восточного берега, из порта Наталь. Доставка его изнутри колонии обходится дорого, оттого дерево употребляется только на мебель и другие, самые необходимые поделки. Зато камень нипочем: все дома каменные. Мы видели даже несколько очень бедных рыбацких хижин, по дороге от Саймонстоуна до Капштата, построенных из костей выброшенных на берег китов и других животных. Мы сели у окна за жалюзи, потому что хотя и было уже (у нас бы надо сказать еще) 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло, как у нас в июле или как здесь в декабре.

На камине и по углам везде разложены минералы, раковины, чучелы птиц, зверей или змей, вероятно все «с острова Св. Маврикия». В камине лежало множество сухих цветов, из породы иммортелей, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь по многу лет: через десять лет так же сухи, ярки цветом и так же ничем не пахнут, как и несорванные. Мы спросили инбирного пива и констанского вина, произведения знаменитой Констанской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Крюднера, а констанское вино так сладко, что из рук вон.

Оно напоминает вкусом немного малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки – неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции: это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий? И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть

даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями: лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается, зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями: барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различить английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензия на него, у голландцев – патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро и шкапах с дедовским фарфором, серебром и т. п. По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можете заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых все смотрит скучно, запущенно; у последних весело, ново и свежо. Мы провели с час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы; тешились мыслью, что мы в Африке. «А ведь это самый южный трактир отсюда по прямому пути до полюса, – сказал мне товарищ, – внесите это в вашу записную книжку». Я не знал, к какому роду знаний отнести это замечание, и обещал поместить его особо.

Я никак не ожидал, чтоб Фаддеев способен был на какую-нибудь любезность, но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок: горный тюльпан, величиной с чайную чашку, с розовыми листьями и темным, коричневым мхом внутри, на длинном стебле. «Где ты взял?» – спросил я. «В Африке, на горе достал», – отвечал он.

Мы собрались всемером в Капштат, но с тем, чтоб сделать поездку подальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем да записные книжки, пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей.

От Саймонсбея до Капштата всего 24 английских мили, или 36 верст.

Дорога, первые 12 миль, идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками, или по ребрам скал, все по шоссе; дорога невеселая, хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но все это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко в ущельях гор пасущихся коров: они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбацьи хижины; две-три дачи под горой да маленькая гостиница – вот и все. Жизни мало; только чайки плавно носятся по побережью да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется «Halfway» («Половина пути»). Наш кучер остановился тут, отпряг лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево; главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее все давно снято. Хотя погода была жаркая, но уже не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были кроме фиговых деревьев бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов.

Завтрак состоял из яичницы, холодной и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наше станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучелы зверей; особенно мила головка маленького оленя, с козленка величиной; я залюбовался на нее, как на женскую (благодарите, mesdames), да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы, конечно не женские...

Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, совершенно изменяется: утесы отступают в сторону, мили на три от берега, и путь, веселый, оживленный, тянется между рядами

дач, одна другой красивее. Въезжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей: местами деревья образуют непроницаемый свод; кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам, а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги.

Налево видна знаменитая по своему вину Констанская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштат. При въезде берут по 8 пенсов с экипажа за шоссе; при выезде из Саймонсбея столько же. По дороге еще есть красивая каменная часовня в полуготическом вкусе, потом, в стороне под горой, на берегу, выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбацья слобода с рощей вокруг.

КАПШТАТ

Задолго до въезда в город глазам нашим открылись три странные массы гор, не похожих ни на одну из виденных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в середине, с возвышенностями по концам; другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет: она как будто срезана, и гора оканчивается кверху площадью, почти равную основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. «Что это?» – спросил я кучера малайца, указывая на одну гору. «Tablemountain» – сказал он («Столовая гора»). «А это?» – «Lion's head» («Львиная гора»). – «А это?» – «Deavil's-pick» («Чертов пик»).

Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену – на что хотите, всего меньше на гору. Бока ее кажутся гладкими, между тем в подзорную трубу видны большие уступы, неровности и углубления; но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром приобрели свою репутацию.

Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них, или опоясывают облака – во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника.

Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможным войти в эту стену; между тем там проложены тропинки, и любопытные, с проводниками, беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили: пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником во всю площадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва: продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного, но конический пик, которым этот холм примыкает к Столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно правильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое: нельзя нарочно сделать лучше; так и хочется снять ее и положить на стол, как *presserapier*.

Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома: это «Welch's hotel». У подъезда, на нижней ступеньке, встретил нас совсем черный слуга; потом слуга малаец, не совсем черный, но и не белый, с красным платком на голове; в сенях – служанка, англичанка, побелее; далее, на лестнице, – девушка лет 20, красавица, положительно белая, и, наконец, – старуха, хозяйка, пес *plus ultra* белая, то есть седая. Мы вошли в чистые, круглые, освещенные сверху сени с прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик, с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настежь, с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В

сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять; мы сдали вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, будем ли мы обедать.

Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в «Halfway» еще были присущи у меня в памяти или в желудке, и я отвечал: «Не знаю». – «Будем, будем!» – торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила, будем ли мы обедать? «Не знаю...» – начал было я, но барон не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я продрался посмотреть, что они делают. Вот что: из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно; в нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка: хорошенькая девушка, родственница m-rs Welch, Кэролейн, то есть Каролина, та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и предурными руками – прекрасная девушка! Сквозь белую, нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки; глаза большие, темно-синие и лучистые; рот маленький и грациозный с вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала: лоб у ней наморщился, глаза выразили страдание, а рот улыбался: такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком! Как мило говорила: «Thank you!», когда взамен счета ей подавали кучку фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида, неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посередине ее, обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну: там было постоянное сборище. Она, то во весь рост, то сидя, рисовалась на темном фоне комнаты. Сзади, как дополнение, аксессуар комнаты, сидела на диване довольно грузная старушка, m-rs Welch. Предоставив Каролине улыбаться и разговаривать с гостями, она постоянно держалась на втором плане, молча принимала передаваемые ей Каролиной фунты и со вздохом опускала в карман.

Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили, будем ли мы обедать. Этот вопрос занимал весь дом.

День был удивительно хорош: южное солнце, хотя и осеннее, не щадило красок и лучей; улицы тянулись лениво, дома стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо большой площади, называемой Готтентотскою, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от Столовой горы сторону, по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив.

На площади учатся обыкновенно войска; но их теперь нет: они еще воюют с кафрами. В конце площади биржа – низенькое, не представляющее ничего замечательного здание голландской постройки. В нем большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего Льва, то в Столовую гору, то в Чертов пик. Город как будто сдавлен ими, только к юго-западу раздвигается безграничный простор: там море сливается с небом.

Мы в конце одной улицы заметили темную аллею и поворотили туда. Это была длинная, совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажен, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке; но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад! Он не велик: едва ли составит половину петербургского Летнего сада, но зато в нем собраны все цветы и деревья, растущие на Капе и в колонии. Все рассажено в порядке, посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья: померанцевые, фиговые и другие, потом кусты. Миртовые всевозможных пород, кипарисные, и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где все это стоит или под стеклом, или в

кадках, а на зиму прячется. Здесь круглый год все зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-английски broomtree. Broom значит метла; дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин! Вот семейство алоэ; особенно красивы зеленые листья с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех: она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе! Я мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья с большими, почти с голову величиною, грушами, но жесткими, годными только для компота.

С одного места из сада открывается глазам вся Столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами; наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снегу. Зеленеющие бока Льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф, разговаривая с судами. Я вглядывался в рытвины Столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые «ножки стола». На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни: на подошву ее лезут фермы и сады; в лесах гнездятся павианы (большие черные обезьяны), кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора не высока, всего 3500 футов над морем, но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ.

Обошедши все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы пошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огороженных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и, усталые, сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома, и по просьбе нашей принесла нам воды.

Город открылся нам весь оттуда, город чисто английский, с немногими исключениями: высокие двухэтажные дома с магазинами внизу; улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные дома и прячущиеся в зелени фермы. Зеленая, то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм, а то всюду голь, все обнажено и иссушено солнцем, убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы да однообразных кустов, потом неизбежных гор, которые группами, беспорядочно стоят, как люди, на огромной площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу.

Дорогой навязавшийся нам в проводники малаец принес нам винограду. Мы пошли назад все по садам, между огромными дубами, из рытвины в рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу, кто-то сказал: «Посмотрите на Столовую гору!» Все оглянулись и остановились в изумлении: половины горы не было.

Облако, о котором я говорил, разрослось, пока мы шли садами, и густым слоем, точно снегом, покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно: это стол накрывался скатертью. Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались: скатерть продолжала спускаться с невероятной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда; но жители капштатские говорят,

что этого не бывает. Столовая гора может хоть вся закутаться в саван – они не боятся. Беда, когда лев накинёт чепчик! Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением.

Я пристально всматривался в физиономию города: та же Англия, те же узенькие, высокие английские дома, крытые аспидом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата: это большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки с одним и тем же некрасивым, тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки. Я почти не видал голландцев в Капштате, но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп; много портных и ювелиров, словом – это уголок Англии.

Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь, один это или два дома; но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением.

Англичанин – барин здесь, кто бы он ни был: всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдаёт он приказания черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани, он строитель, инженер, плантатор, чиновник, он распоряжается, управляет, работает, он же едет в карете, верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника.

А черный? Вот стройный, красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это кули – наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью, восемью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на голове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девчонок, от самых белых до самых черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных – как куча сажки. Мулаты, мулатки в европейских костюмах; далее пьяные английские матросы, махая руками, крича во все горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкуются у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания – английские женщины.

Мы пришли на торговую площадь; тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров вывешено на окнах, а на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов, брошюр, газет; я видел типографии, конторы издающихся здесь двух газет, альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев: львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовых рогов, змей, ящериц.

В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных.

Кроме черных и малайцев встречается много коричневых лиц весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан: это помесь этих народов с африканками. Собственно же коренных и известнейших племен: кафрского, готтентотского и бушменского, особенно последнего, в Капштате не видеть, кроме готтентотов – слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни.

Впрочем, племя бушменов малочисленно; они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-голландски буш), они и между собой живут не обществом, а посемейно, промышляют ловлей зверей, рыбы и воровством. Один из новых

писателей о Капской колонии, Торнли Смит (Thornley Smith), находит у бушменов сходство с Плиниевыми троглодитами, которые жили в землянках, питались змеями и вместо явственной речи издавали глухое ворчанье. Есть сходство, особенно когда послушаешь, как бушмены говорят: об этом скажу ниже.

Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платится жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане ввели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте.

Устав и нагнадевшись всего, мы часов в шесть воротились в гостиницу.

Там в длинной столовой накрыт был большой стол. Мы разошлись по номерам переодеться к обеду. Я осмотрел внимательно свой номер: это длинная, мрачная комната с одним преобладающим окном, но очень высокая. В ней постель, по обыкновению преширокая, с занавесом; дрянной ореховый стол, несколько стульев, которые скликают друг друга; обои разодраны в некоторых местах; на потолке красуется пятно. В окне одно стекло разбито; на столике стояло маленькое зеркало, в простой рамке, с ящиком. Я обошел комнату раза два, поглядел на свой неразвязанный, туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души. «Фаддеев! Филипп! где вы?» – сорвалось у меня с языка воззвание к слугам. Я позвонил: явился мальчик лет двадцати, угреватый, подслеповатый, и в комнате вдруг запахло собакой. «Воды – бриться!» – сказал я. «Yes, sir», – отвечал он и не принес. Я позвонил – и он явился с кружкой воды. «Щетку, – сказал я, – для платья!» То же «yes» в ответ и то же непослушание. Вдруг раздался звонок – это приглашение к обеду.

Я сошел в сени. Малаец Ричард, подняв колокол, с большой стакан величиной, вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и номера, сзывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую.

Там явились все только наши да еще служащий в Ост-Индии английский военный доктор Whetherhead. На столе стояло более десяти покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан, и чего тут не было! Я сел на конце; передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать.

Нас село за обед человек шестнадцать. Whetherhead сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор, сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше.

Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки.

Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив.

Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда: там задымился кусок ростбифа. Я трогал его длинным и, как бритва, острым ножом то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. «Не портьте куска, – сказал мне барон, млея перед этой горой мяса, – надо резать искусно». Я передвинул блюдо к доктору, и тот с уменьем, тонкими ломтями, начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина, и почти все *au naturel*, как и любят англичане, жаркое, рыба, зелень и еще карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии; это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец, даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему подается особо варенный в одной воде рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот; но тогда начинались различные затруднения: один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту; иной, проглотив вдруг, делал гримасу, как будто говорил по-английски; другой поспешно проглатывал и метался запивать, а некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи.

Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы, и обед съедался вдруг. Ричард метался как угорелый и отлично успевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полоскания рта. Лишь кликнут: «Ричард!», да и кликать не надо: он не допустит; он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы – особенно с непривычки – непременно засмеетесь прежде, а потом уже скажете, что вам нужно: такие гримасы делает он, приготовляясь слушать вас! Вы только намереваетесь сказать ему слово, он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное; и когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, а одно ухо к вам; лицо все, особенно лоб, собирается у него в складки, губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку. Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар.

Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь, одно за другим, блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец, потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт: прекрупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой, груши, гранаты, фиги и арбузы. Опять пошла такая же раздача: тому того, этому другого, нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю: оно то же, что и в Англии, то есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем да еще что-то вроде крема, без сахара, но, кажется... с вареньем. Наконец Ричард и это все утащил, но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его, мы удалились от бутылок еще скромнее и кто постарше пошли в гостиную, а большинство – в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю и записали на каждого за все съеденное и выпитое, кроме вина, по четыре шиллинга: это за обед. Мне подали чаю; я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже: помню, что в детстве вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож. Говорят, это смесь черного и зеленого чаев; но это еще не причина, чтоб он был так дурен; прибавьте, что к чаю подали вместо сахара песок, сахарный конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее.

Мы пошли опять гулять. Ночь была теплая, темная такая, что ни зги не видать, хотя и звездная. Каждый, выходя из ярко освещенных сеней по лестнице на улицу, точно падал в яму. Южная ночь таинственна, прекрасна, как красавица под черной дымкой: темна, нема; но все кипит и трепещет жизнью в ней, под прозрачным флером. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья; он освежает грудь и нервы, как купанье в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце; тихо, покойно и таинственно; листья на деревьях не колышутся. Мы ходили до пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду.

Часов в десять вошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор.

Я воротился домой, но было еще рано; у окна буфета мистрис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то спросил, они что-то отвечали, потом м-с Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и, одна за другой, медленно пошли на лестницу. В сенях, на круглом столе, я увидел целый строй медных подсвечников и – о ужас, сальных свеч! Все это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило, что такой опрятный, тонкий и причудливый в жите-бытье народ, как англи-

чане, да притом и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурны; спермацетовые прекрасны, но дороже восковых. «Мне нужна восковая или спермацетовая свечка», – сказал я живо.

Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор; но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой, а я пошел в свой 8-й номер, держа поодаль от себя свечу; там отдавало немного пустотой и сыростью.

Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого; да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано комара. Я повернулся на другой бок – над ухом раздался дуэт и потом трио, а там все смолкло и вдруг – укушение в лоб, не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место: там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали, тихонько целился ладонью в темноте: бац – больно – только не комару, и вслед за пощечиной раздавалось опять звонкое пение: комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я затворил деревянную ставню, но от ветерка она ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов в 8, кто-то стучит в дверь. «Кто там?» – забывшись, по-русски закричал я. «Who is there?» – опомнившись, спросил я потом. «Чаю или кофе?» – «Чаю... если только это чай, что у вас подают». Я встал отпереть дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушений. Я попросил, чтоб поскорей вставили стекло. «Yes, sir», – отвечал он. Но я знал уже, что значит это «yes».

Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда; я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого, и рамка пустая: картинка еще почивала. Только Ричард, стоя в сенях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливается звонит – к завтраку. Было всего 9 часов – какой же еще завтрак? «Ни я, никто из наших не завтракает», – говорил я, входя в столовую, и увидел всех наших; других никого и не было. Стол накрыт, как для обеда; стоит блюд шесть и дымятся; на другом столе дымился чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы – из любопытства, «узнать, что за рыба», по методу барона, да маленькую котлетку. «Чем же это не обед? – говорил я, принимаясь за виноград, – совершенный обед – только супу нет». После завтрака я не забыл пожаловаться м-с Вельч на комаров и просил вставить окно. «Yes, sir!» – отвечала она. И Каролине пожаловался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. «Yes, o yes!» – сказала она, очаровательно улыбаясь.

Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира, потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна; лавок много; главная из них, Робертсона, помещается на большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры и купил некоторые изданные здесь сочинения собственно о Капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности.

Устройство лавок, искусство раскладывать товар – все напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою: вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию, только с легким провинциальным оттенком. Все попроще, нет зеркальных двухсаженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем здесь есть много своих фабрик и заводов: шляпных, стеклянных, бумажных и т. п., которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя: где покупатели? Жителей в Капштате от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч.

К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрылись наглухо посредством жалюзи; движение приутихло, то есть беготня собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам; быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другою кладью, а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по пятнадцати. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи: кареты четырехместные, коляски, кабриолеты в одну лошадь

и парой. Экипажи как будто сейчас из мастерской: ни одного нет даже старого фасона, все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова.

Мы где-то на перекрестке разошлись: кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бани, помещающиеся в одном доме на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился, между прочим и потому, что в городе собственно негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь, останавливался перед разными деревьями, дивился рогатым, неуклюжим кактусам и опять с любопытством смотрел на Столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слышал, вероятно, потому, что было поздно. Теперь, напротив, утром, раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов. Я искал глазами певиц, но они не очень дичились: из одного куста в другой беспрестанно перелетали стаи колибри, резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на пять, как они дождем пронеслись под носом у меня и падали в ближайший шелковичный или другой куст.

В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где, в черном платье, с черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с улыбкой наблюдала, как смотрели на нее. Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма, а часа в три отнес их сам на почту.

Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи рельсы, по которым возят тяжести до лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак.

Есть на что и позевать: впереди необъятный залив со множеством судов; взад и вперед снуют лодки; вдали песчаная отмель, а за ней Тигровые горы.

Оглянитесь назад: за вами три исполинские массы гор и веселый, живой город.

Тут же, на плотине, застал я множество всякого цветного народа, особенно мальчишек, ловивших удочками рыбу. Ее так много, что не проходит минуты, чтоб кто-нибудь не вытащил.

В некоторых улицах видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись: «Контора омнибусов»; спрашиваю: куда они ходят, и мне называют ближайшие места, миль за 40 и за 50 от Капштата. А давно ли туда ездили на волах, в сопровождении толпы готтентотов, на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться миль за 400: города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных к Капштату горах.

Пора, однако, обедать, солнце село: шесть часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен, очень благообразной наружности, с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью, в голубой куртке, с черным крепом на шляпе, с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. «Вандик», – рекомендовался он. У меня промелькнул целый поток соображений. «Вандик – конечно, потомок знаменитого живописца: дед или прадед этого, стоящего пред нами, Вандика, оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его. Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед...» – «Проводник ваш по колонии, – сказал Вандик, – меня нанял ваш банкир, с двумя экипажами и с осью лошадейми. Когда угодно ехать?» Мои соображения рассеялись. «Завтра пораньше», – сказали мы ему.

Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша – Бог с ней: лет тридцати, *figure chiffonne*⁵. Про такие лица прибавляют обыкновенно: но очень мила; про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо ни одевалась она, но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их нумера часто раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Играли на фортепиано прекрасно: говорят, это он.

Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин, хотя и служил хирургом в полку в ост-индской армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. «Я все с большим и большим удовольствием смотрю на вас», – сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную и дамы удалились. «Чем мы заслужили это лестное внимание?» – «Скромность, знание приличий...» – и пошел. «Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного?..» – «Нет: я сравниваю с нашими офицерами, – продолжал он, – на днях пришел английский корабль, человек двадцать офицеров съехали сюда и через час поставили вверх дном всю отель. Прежде всего они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и этого не могли, упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже были долго в море, хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина: это просто удивительно!» Такой отзыв нас удивил немного: никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. «Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя, и едят мясо, пряности?» – спросили мы. «О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко; представьте, что в Индии такая зима; про лето нечего и говорить; а наши, в этот жар, с раннего утра отправятся на охоту: чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом? Чаем и водкой! Приехав на место, рыщут по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по несколько бутылок портера или элю и после этого приедут домой как ни в чем не бывало; выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается, – отчасти с досадой прибавил он, – ровно ничего, только краснеют да толстеют; а я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтоб полечиться».

«Но это даром не проходит им, – сказал он, помолчав, – они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие». – «Долго ли вы пробудете здесь?» – спросили мы доктора. «Я взял отпуск на год, – отвечал он, – мне осталось всего до пенсии года три. Надо прослужить семнадцать лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии; мы не знаем, что еще будет». Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха. «Ближайшее, – отвечал он, – и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить эмигрантов и места на порядочных судах очень дороги. А нас двое: я и жена; жалованья я получаю всего от 800 до 1000 ф. стерл.» (от 5000 до 6000 р.). – «Куда же отправитесь, выслужив пенсию?» – «И сам не знаю; может быть, во Францию...» – «А вы знаете по-французски?» – «О да...» – «В самом деле?» И мы живо заговорили с ним, а до тех пор, правду сказать, кроме Арефьева, который отлично говорит по-английски, у нас рты были точно зашиты. Доктор говорил по-французски прекрасно, как не говорит ни один англичанин, хоть он живи сто лет во Франции. «Да он жид, господа!» – сказал вдруг один из наших товарищей. Жид – какая догадка! Мы пристальнее всмотрелись в него: лицо бледное, волосы русые, профиль... профиль точно еврейский – сомнения нет. Несмотря, однако ж, на эту догадку, у нас еще были скептики, оспаривавшие это мнение. Да нет, все в нем не английское: не смотрит он, вытараща глаза; не сжата у него, как у англичан, и самая мысль, суждение в какие-то тиски; не цедит он ее неуклюже, сквозь зубы, по слову. У этого

⁵ лицо в мелких морщинках – фр.

мысль льется так игриво и свободно: видно, что ум не задавлен предрассудками; не рядится взгляд его в английский покррой, как в накрахмаленный галстух: ну, словом, все, как только может быть у космополита, то есть у жида. Выдал ли бы англичанин своих пьяниц?.. Догадка о его национальности оставалась все еще без доказательств, и доктор мог надеяться прослыть за англичанина или француза, если б сам себе не нанес решительного удара. Не прошло полчаса после этого разговора, говорили о другом. Доктор расспрашивал о службе нашей, о чинах, всего больше о жалованье, и вдруг, ни с того ни с сего, быстро спросил: «А на каком положении живут у вас жида?» Все сомнения исчезли.

Кто бы он ни был, если и жид, но он был самый любезный, образованный и обязательный человек. «Вам скучно по вечерам, – сказал он однажды, – здесь есть клуб: вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, читаете газету, выкурите сигару: все лучше, нежели одним сидеть по номерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте!» Мы пошли. Клуб, как все клубы: ряд освещенных комнат, кучи журналов, толпа лакеев и буфет. Но, видно, было еще рано: комнаты пусты, только в бильярдной собралось человек пятнадцать. Пятеро, без сюртуков, в одних жилетах, играли; прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на себя особенное внимание пожилой, невысокого роста человек, с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстуха. «Заметьте этого джентльмена», – сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему: «Вам, вам играть!» – и он продолжал игру. «Кто ж это?» – спросили мы доктора. Он замялся несколько. «Игрок, если хотите», – сказал он. «Ну, спасибо за знакомство», – подумал я. Доктор как будто угадал мою мысль. «Я познакомил вас с ним потому, – прибавил он, – что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним: он знает все. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются, как банкирские. А этот молодой человек, – продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, недурного собой, с усиками, – замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе, просто из страсти к приключениям».

Мне, однако ж, не интересно казалось смотреть на катанье шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти. Зову их – нейдут: «Сейчас да погодите». Я ушел потихоньку один, но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор, еще натуралист да молодой Зеленый. Все они легли спать; натуралист, если и не спал, то копался с слизняками, раками или букашками; он чистил их, сушил и т. п. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили м-с Вельч и Каролину пить чай *en famille*, вместе, как это делается у нас, в России. Так, романтизм! Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок говорил с бароном, Посьет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. «А ей что?» – спросил Посьет. «Да не знаю, – равнодушно отвечал я, – вы просили, кажется, Каролину чай разливать...» «Это не я, а барон», – перебил меня Посьет. «Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет». Я оставил Посьета и перешел к барону. «Вы, что ли, просили старуху Вельч и Каролину чай пить вместе...» – «Нет, не я, а Посьет, – сказал он, – а что?» – «Да чай готов, и Каролина ждет...» Я хотел обратиться к Посьету, чтоб убедить его идти, но его уже не было. «А этот господин игрок, в красной куртке, вовсе не занимателен, – заметил, зевая, барон, – лучше гораздо идти лечь спать». Мы пошли и застали Посьета в комнате у хозяйек: обе они зевали – старуха со всею откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевок улыбкой. О чае ни тот, ни другой не спросили ни меня, ни их: они поняли все. Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни-одинехоньки. Добрый Посьет стал уверять, что

он ясно видел мою хитрость, а барон молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной.

Утром опять явился Вандик спросить, готовы ли мы ехать; но мы не были готовы: у кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в два часа. Вандик, с неизменной улыбкой, поклонился и ушел. В два часа явились перед крыльцом две кареты; каждая запряжена была четверкой, по две в ряд. И малаец Ричард, и другой, черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, наконец, сама м-с Вельч и Каролина – все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы садились в экипажи. «Good journey, happy voyage!» – говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город и, обогнув Столовую гору и Чертов пик, поехали по прекрасному шоссе, в виду залива, между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до спанья: мы радовались, что, по обязательности адмирала, с помощью взятых им у банкиров Томсона и К0 рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного.

Я припоминал все, что читал еще у Вальяна о мысе и о других: описание песков, зноя, сражений со львами, о фермерах, и не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в 10 000 милях от отечества. Я ласкал глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на луговине, на берегу залива, верстах в четырех от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над луной и двойными звездами, но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Констанской горы, а эта принадлежит правительству. Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, поглубже цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те, стаями перелетали из куста в куст; мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их медленными кругами носились в воздухе коршуны; близ жилых мест появлялись и вороны, гораздо ярче колоритом наших: черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пегие голуби, ласточки и воробьи.

В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Кусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес; но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы с яркой густой зеленью вокруг.

КАПСКАЯ КОЛОНИЯ

Скажите, положа руку на сердце: знаете ли вы хорошенько, что такое Капская колония? Не сердитесь ни за этот вопрос, ни за сомнение. Я уверен, что вы знаете историю Капа и колонии, немного этнографию ее, статистику, но все это за старое время. А знаете ли вы современную историю, нравы, все, что случилось в последние тридцать-сорок лет? Я уверен, что не совсем, или даже совсем не знаете, кроме только разве того, что колония эта принадлежит англичанам. Я не помню, чтоб в нашей литературе являлись в последнее время какие-нибудь сведения об этом крае, не знаю также ничего замечательного и на французском языке. По-английски большинство нашей публики почти не читает, между тем в Англии, а еще более здесь, в Капе, описание Капа и его колонии образует почти целую особую литературу. Имена писателей у нас неизвестны, между тем сочинения их – подвиги в своем роде; подвиги потому, что у них не было предшественников, никто не облегчал их трудов ранними труженическими изысканиями. Они сами должны были читать историю края на песках, на каменных скрижалях гор, где не осталось никаких следов минувшего. Каких трудов стоила им всякая этнографическая гипотеза, всякое филологическое соображение, которое надо было основывать на скудных, почти нечеловеческих звуках языков здешних народов! А между тем нашлись люди, которые не испугались этих неблагодарных трудов: они исходили взад и вперед колонию и,

несмотря на скудость источников, под этим палящим солнцем написали целые томы. Кто ж это? Присяжные ученые, труженики, герои науки, жертвы любознания? Нет, просто любители, которые занялись этим мимоходом, сверх своей прямой обязанности: миссионеры и военные. Одни шли с крестом в эти пустыни, другие с мечом. С ними проникло пытлиное знание и перо. Сочинения Содерлендов, Барро, Смитов, Чезов и многих, многих других о Капе образуют целую литературу, исполненную бескорыстнейших и добросовестнейших разысканий, которые со временем послужат основным камнем полной истории края.

Что же такое Капская колония? Если обратишься с этим вопросом к курсу географии, получишь в ответ, что пространство, занимаемое колонией, граничит к северу рекою Кейскамма, а в газетах, помнится, читал, что граница с тех пор во второй или третий раз меняет место и обещают, что она не раз отодвинется дальше. На карте показано, что от такого-то градуса и до такого живут негры того или другого племени, а по новейшим известиям оказывается, что это племя оттеснено в другое место. Если прибегнешь за справками к путешественникам, найдешь у каждого ту же разноголосицу показаний, и все они верны, каждое своему моменту, именно моменту, потому что здесь все изменяется не по дням, а по часам.

Здесь все в полном брожении теперь: всеодолевающая энергия человека борется почти с неодолимою природою, дух – с материей, жадность приобретения – с скупостью бесплодия. Но осадка еще мало, еще нельзя определить, в какую физиономию сложатся эти неясные черты страны и ее народонаселения. Дело мало двинуто вперед, и наблюдатель из настоящего положения не выведет верного заключения о будущей участи колонии. Ему остается только следить, собирать факты и строить целый мир догадок. В материалах недостатка нет: настоящий момент – самый любопытный в жизни колонии. В эту минуту обрабатываются главные вопросы, обуславливающие ее существование, именно о том, что ожидает колонию, то есть останется ли она только колонией европейцев, как оставалась под владычеством голландцев, ничего не сделавших для черных племен, и представит в будущем незанимательный уголок европейского народонаселения, или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации? За этим следует второй, также важный вопрос: принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы, или эти труды останутся только бескорыстным подвигом, подвигнутым на пользу человечества? На эти вопросы пока нет ответа – так мало еще европейцы сделали успеха в цивилизации страны, или, лучше сказать, так мало страна покоряется соединенным усилиям ума, воли и оружия.

В других местах, куда являлись белые с трудом и волею, подвиг вел за собой почти немедленное вознаграждение: едва успевали они миролюбиво или силой оружия завязывать сношения с жителями, как начиналась торговля, размен произведений, и победители, в самом начале завоевания, могли удовлетворить по крайней мере своей страсти к приобретению. Даже в Восточной Индии, где цивилизация до сих пор встречает почти неодолимое сопротивление в духе каст, каждый занятый пришельцами вершок земли немедленно приносил им соразмерную выгоду богатыми дарами почвы. В Южной Африке нет и этого: почва ее неблагоприятна, произведения до сих пор так скудны, что едва покрывают издержки хлопот. Виноделие, процветающее на морских берегах, дает только средства к безбедному существованию небольшому числу фермеров и скудное пропитание нескольким тысячам черных. Прочие промыслы, как, например, рыбная и звериная ловля, незначительны и не в состоянии прокормить самих промышленников; для торговли эти промыслы едва доставляют несколько неважных предметов, как-то: шкур, рогов, клыков, которые не составляют общих, отдельных статей торга. Самые важные промыслы – скотоводство и земледелие; но они далеко еще не достигли того состояния, в котором можно было бы ожидать от них полного вознаграждения за труд.

А между тем, каких усилий стоит каждый сделанный шаг вперед! Черные племена до сих пор не поддаются ни силе проповеди, ни удобствам европейской жизни, ни очевидной

пользе ремесел, наконец, ни искушениям золота – словом, не признают выгод и необходимости порядка и благоустроенности.

Местность страны – неограниченные пустые пространства – дает им средства противиться силе оружия. Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью; каждая гора, куст представляют естественную преграду белым и служат защитой и убежищем черных. Наконец, европеец старается склонить черного к добру мирными средствами: он протягивает ему руку, дарит плуг, топор, гвоздь – все, что полезно тому; черный, истратив жизненные припасы и военные снаряды, пожимает протянутую руку, приносит за плуг и топор слоновых клыков, звериных шкур и ждет случая угнать скот, перерезать врагов своих, а после этой трагической развязки удаляется в глубину страны – до новой комедии, то есть до заключения мира.

Долго ли так будет? скоро ли европейцы проложат незаметаемый путь в отдаленные убежища дикарей и скоро ли последние сбросят с себя это постыдное название? Решением этого вопроса решится и предыдущий, то есть о том, будут ли вознаграждены усилия европейца, удастся ли, с помощью уже недликих братьев, извлечь из скупой почвы, посредством искусства, все, что может только она дать человеку за труд? усовершенствует ли он всеми средствами, какими обладает цивилизация, продукты и промыслы? возведет ли последние в степень систематического занятия туземцев? откроет ли или привьет новые отрасли, до сих пор чуждые стране?

Теперь на мысе Доброй Надежды, по берегам, европейцы пустили глубоко корни; но кто хочет видеть страну и жителей в первобытной форме, тот должен проникнуть далеко внутрь края, то есть почти выехать из колонии, а это не шутка: граница отодвинулась далеко на север и продолжает отодвигаться все далее и далее.

Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера – словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы. Сильные и наиболее дикие племена, теснимые цивилизацией и войною, углубились далеко внутрь; другие, послабее и помирнее, теснимые первыми изнутри и европейцами от берегов, поддались не цивилизации, а силе обстоятельств и оружия и идут в услужение к европейцам, разделяя их образ жизни, пищу, обычаи и даже религию, несмотря на то, что в 1834 г. они освобождены от рабства и, кажется, могли бы выбрать сами себе место жительства и промысл. Повидимому, им и в голову не приходит о возможности пользоваться предоставленными им правами свободного состояния и сравняться некогда с своими завоевателями. Путешественник почти совсем не видит деревень и хижин диких да и немного встретит их самих: все занято пришельцами, то есть европейцами и малайцами, но не теми малайцами, которые заселяют Индийский архипелаг: африканские малайцы распространились будто бы, по словам новейших изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Надежды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. Судя по чертам лиц их, имеющих много общего с лицами обитателей ближайшего к нам Востока, не задумаешься ни минуты причислить их к северо-восточным племенам Африки.

Недавно только отведена для усмиранных кафров целая область, под именем Британской Кафрарии, о чем сказано будет ниже, и предоставлено им право селиться и жить там, но под влиянием, то есть под надзором, английского колониального правительства. Область эта окружена со всех сторон британскими владениями: как и долго ли уживутся беспокойные племена под ферулой европейской цивилизации и оружия, сблизятся ли с своими победителями и просветителями – эти вопросы могут быть разрешены только временем.

Нужно ли говорить, кто хозяева в колонии? конечно, европейцы, и из европейцев, конечно, англичане. Голландцам принадлежит второстепенная роль, и то потому только, что они многочисленны и давно обжились в колонии. Должно ли жалеть об утраченном владычестве голландцев и пенять на властолюбие или, вернее, корыстолюбие англичан, воспользовавшихся единственно правом сильного, чтоб завладеть этим местом, которое им нужно было

как переходный пункт на пути в Ост-Индию? Если проследить историю колонии со времени занятия ее европейцами в течение двухвекового голландского владычества и сравнить с состоянием, в которое она поставлена англичанами с 1809 года, то не только оправдаешь насильственное занятие колонии англичанами, но и порадуешься, что это случилось так, а не иначе.

Здесь предлагается несколько исторических, статистических и других сведений о Капской колонии, извлеченных частью из официальных колониальных источников, частью из прекрасной немецкой статьи «Das Cap der Guten Hoffnung», помещенной в 4-м томе «Gegenwart», энциклопедического описания новейшей истории. Эта статья составляет систематическое и подробное описание колонии в историческом, естественном и других отношениях.

Мыс Доброй Надежды открыт был в блистательную эпоху мореплавания, в 1493 году, португальцем Диазом (Diaz), который назвал его мысом Бурь.

Но португальский король Иоанн II, радуясь открытию нового, ближайшего пути в Индию, дал мысу Бурь нынешнее его название. После того посещали мыс, в 1497 году, Васко де Гама, а еще позже бразильский вице-король Франциско де Альмейда, последний – с целью войти в торговые сношения с жителями. Но люди его экипажа поссорились с черными, которые убили самого вице-короля и около 70 человек португальцев.

Голландцы, на пути в Индию и оттуда, начали заходить на мыс и выменивали у жителей провизию. Потом уже голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибека, заняла Столовую бухту.

В 1652 году голландцы заложили там крепость, и таким образом возник Капштат. Они быстро распространились внутрь края, произвольно занимая впусе лежащие земли и оттесняя жителей от берегов. Со стороны диких сначала они не встречали сопротивления. Последние, за разные европейские изделия, но всего более за табак, водку, железные орудия и тому подобные предметы, охотно уступали им не только земли, но и то, что составляло их главный промысел и богатство, – скот.

Голландские фермеры до сих пор владеют большими пространствами земли: это произошло от системы произвольной раздачи ее поселенцам. Всякий из них брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом. От этого многие фермы и теперь отстоят на сутки езды одна от другой. Фермеры, удаляясь от центра управления колонии, почувствовали себя как бы независимыми владельцами и не замедлили подчинить своей власти туземцев, и именно готтентотов. Распространяясь далее к востоку, голландцы встретились с кафрами, известными под общим, собирательным именем амакоза. Последние вели кочевую жизнь и, в эпоху основания колонии, прикочевали с севера к востоку, к реке Кей, под предводительством знаменитого вождя Тогу (Toguh), от которого многие последующие вожди и, между прочим, известнейшие из них, Гаика и Гинца, ведут свой род.

Кафры, или амакоза, продолжали распространяться к западу, перешли большую Рыбную реку (Fish-river) и заняли нынешнюю провинцию Альбани, до Воскресной реки.

Голландцы продолжали распространяться внутрь, не встречая препятствий, потому что кафры, кочуя по пустым пространствам, не успели еще сосредоточиться в одном месте. Им даже нравилось соседство голландцев, у которых они могли воровать скот, по склонности своей к грабежу и к скотоводству как к промыслу, свойственному всем кочующим народам.

Гористая и лесистая местность Рыбной реки и нынешней провинции Альбани способствовала грабежу и манила их селиться в этих местах. Здесь возникли первые неприязненные стычки с дикими, вовлекшие потом белых и черных в нескончаемую доселе вражду. Всякий, кто читал прежние известия о голландской колонии, конечно помнит, что они были наполнены бесчисленными эпизодами о схватках поселенцев с двумя неприятелями: кафрами и дикими зверями, которые нападали с одной целью: похищать скот.

Нельзя не отдать справедливости неутомимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в

этой стране; как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом на новой, нетронутой почве.

Они целиком перенесли сюда все свое голландское хозяйство и, противопоставив палящему солнцу, пескам, горам, разбоям и грабегам кафров почти одну свою фламандскую флегму, достигли тех результатов, к каким только могло их привести, за недостатком положительной и живой энергии, это отрицательное и мертвое качество, то есть хладнокровие. Они посредством его, как другие посредством военных или административных мер, достигли чего хотели, то есть заняли земли, взяли в невольничество, сколько им нужно было, черных, привили земледелие, добились умеренного сбыта продуктов и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которою жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед. Они до сих пор еще пашут тем же тяжелым, огромным плугом, каким пахали за двести лет, впрягая в него до двенадцати быков; до сих пор у них та же неуклюжая борона. Плодопеременное хозяйство им неизвестно. Английские земледельческие орудия кажутся им чересчур легкими и хрупкими. Скотоводство распространилось довольно далеко во внутренность края, и фермеры, занимающиеся им, зажиточны, но образ жизни их довольно груб и грязен. Недостаток в воде, ощущаемый внутри края, заставляет их иногда кочевать с места на место.

Лучшие и богатейшие из голландцев – винопроизводители. Виноделие введено в колонию французскими эмигрантами, удалившимися сюда по случаю отмены Нантского эдикта. В колонии, а именно в западной части, на приморских берегах, производится большое количество вина почти от всех сортов французских лоз, от которых удержались даже и названия. Вино кроме потребления в колонии вывозится в значительном количестве в Европу, особенно в Англию, где оно служит к замене хереса и портвейна, которых Испания и Португалия не производят достаточно для снабжения одной Англии.

Эмигранты вместе с искусством виноделия занесли на мыс свои нравы, обычаи, вкус и некоторую степень роскоши, что все привилось и к фермерам.

Близость к Капштату поддержала в западных фермерах до сих пор эту утонченность нравов, о которой не имеют понятия восточные, скотопромышленные хозяева.

Но влияние эмигрантов тем и кончилось. Сами они исчезли в голландском народонаселении, оставив по себе потомкам своим только французские имена.

Между фермерами, чиновниками и другими лицами колонии слышатся фамилии Руже, Лесюер и т. п.; всматриваешься в них, ожидая встретить что-нибудь напоминающее французов, и видишь чистейшего голландца. Есть еще и доселе в западной стороне целое местечко, населенное потомками этих эмигрантов и известное под названием French Hoek или Hook.

Голландцы многочисленны, сказано выше: действительно так, хотя они уступили первенствующую роль англичанам, то есть почти всю внешнюю торговлю, навигацию, самый Капштат, который из Капштата превратился в Кэптоун, но большая часть местечек заселена ими, и фермы почти все принадлежат им, за исключением только тех, которые находятся в некоторых восточных провинциях – Альбани, Каледон, присоединенных к колонии в позднейшие времена и заселенных английскими, шотландскими и другими выходцами.

Говоря о голландцах, остается упомянуть об отдельной, независимой колонии голландских так называемых буров (боег – крестьянин), то есть тех же фермеров, которую они основали в 1835 году, выселившись огромной толпой за черту границы. Вот как это случилось. Прежде, однако ж, следует напомнить вам, что в 1795 году колония была занята силою оружия англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для них местом остановки на пути в Индию. По Амьенскому миру, в 1802 г., колония возвращена была Голландии, а в 1806 г. снова взята Англиею, за которую и утверждена окончательно Венским трактатом 1815 г.

Голландцы терпеливо покорились этому трактату потому только, что им оставили их законы и администрацию. Но в 1827 г. обнародован был свод законов в английском духе и произошли многие важные перемены в управлении.

Это раздражило колонистов. Некоторые из них тогда же начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 г. мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства к тому, и, наконец, внезапным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вест-индским ценам, тогда как в Капской колонии невольники стоили вдвое.

Деньги за них высылались из Англии, с разными вычетами, в Капштат, куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сот миль. Все это окончательно восстановило голландцев, которых целое народонаселение двинулось массой к северу и, перешедши реку Вааль, заняло пустые, но прекрасные, едва ли не лучшие во всей Южной Африке, пространства. Движение это было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштату голландцев бросили свои фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились с своими соотечественниками. Они заняли пространства в 350 миль к северу от реки Вааль, захватив около полутора градуса Южного тропика, – крайний предел, до которого достигла колонизация европейцев в Африке.

Они хотели иметь свои законы, управление и надеялись, что сумеют, без помощи англичан, защититься против врагов. И не обманулись. Страна их, по отзывам самих англичан, находится в цветущем положении. Буры разделили ее на округа, построили города, церкви и ведут деятельную, патриархальную жизнь, не уступая, по свидетельству многих английских путешественников, ни в цивилизации, ни в образе жизни жителям Капштата. Они управляются Народным советом (Volksraad), имеют училища и т. п. Страна чрезвычайно плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производит множество плодов. Ей предстоит блистательная торговая будущность, по соседству ее с английским портом Наталь и занятым англичанами пространством, известным под названием Orange river sovereignty.

Английское правительство умело оценить независимость и уважить права этого тихого и счастливого уголка и заключило с ним в январе 1852 г. договор, в котором, с утверждением за бурами этих прав и независимости, предложены условия взаимных отношений их с англичанами и также образа поведения относительно цветных племен, обеспечения торговли, выдачи преступников и т. п., как заключаются обыкновенно договоры между соседями.

Водворяя в колонии свои законы и администрацию, англичане рассчитывали, конечно, на быстрый и несомненный успех, какого достигли у себя дома.

Пролагая путь внутрь края оружием, а еще более торговлею, они скоро отодвинули границу, которая до них оканчивалась Рыбною рекою, далее.

Английские губернаторы, сменившие голландских, окруженные большим блеском и более богатыми средствами, обнаружили и более влияния на дикие племена, вступили в деятельные сношения с кафрами и, то переговорами, то оружием, вытеснили их из пределов колонии. По окончании неприятных действий с дикими в 1819 г. англичане присоединили к колонии значительную часть земли, которая составляет теперь одну из лучших ее провинций под именем Альбани.

Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы и в бухте Альгоа (Algoabay) завели деятельную торговлю с кафрами, вследствие которой на реке Кейскамма учредилась ярмарка.

Кафры приносили слоновую кость, страусовые перья, звериные кожи и взамен кроме необходимых полевых орудий, разных ремесленных инструментов, одежд получали, к сожалению, порох и крепкие напитки. Новые пришельцы приобрели значительные земли и посвятили себя особой отрасли промышленности – овцеводству. Они облагородили грубую тузем-

ную овцу: успех превзошел ожидания, и явилась новая, до тех пор неизвестная статья торговли – шерсть.

Еще до сих пор не определено, до какой степени может усилиться шерстяная промышленность, потому что нельзя еще, по неверному состоянию края, решить, как далеко может быть она распространена внутри колонии. Но, по качествам своим, эта шерсть стоит наравне с австралийской, а последняя высоко ценится на лондонском рынке и предпочитается ост-индской. Вскоре возник в этом углу колонии город Грем (Grahamstown) и порт Елизабет, через который преимущественно производится торговля шерстью.

У англичан сначала не было положительной войны с кафрами, но между тем происходили беспрестанные стычки. Может быть, англичане успели бы в самом начале прекратить их, если бы они в переговорах имели дело со всеми или по крайней мере со многими главнейшими племенами; но они сделали ошибку, обратясь в сношениях своих к предводителям одного главного племени, Гаики.

Это возбуждало зависть в мелких племенах, которые соединились между собою и действовали совокупными силами против англичан и вместе против союзного с ними племени Гаики.

Во всяком случае, с появлением англичан деятельность загорелась во всех частях колонии, торговая, военная, административная. Вскоре основали на Кошачьей реке (Kat-river) поселение из готтентотов; в самой Кафрарии поселились миссионеры. Последние, однако ж, действовали не совсем добросовестно; они возбуждали и кафров, и готтентотов к восстанию, имея в виду образовать из них один народ и обеспечить над ним свое господство.

Колониальное правительство принуждено было между тем вытеснить некоторые наиболее враждебные племена, сильно тревожившие колонию своими мелкими набегами и грабежом, из занятых ими мест. Все это повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году, серьезной войне с кафрами.

Сверх провинции Альбани, англичане приобрели для колонии два новые округа и назвали их Альберт и Виктория и еще большое и богатое пространство земли между старой колониальной границей и Оранжевой рекой, так что нынешняя граница колонии простирается от устья реки Кейскаммы, по прямой линии к северу, до 30 30' южной широты по Оранжевой реке и, идучи по этой последней, доходит до Атлантического океана.

Вся колония разделена на 20 округов, имеющих свои мелкие подразделения.

Каждый округ вверен чиновнику, заведывающему судебною и финансовою частями.

Для любопытных сообщаются здесь названия всех этих провинций или округов, заимствованные из капских официальных источников. Кап, Мельмсбери (Melmsbery), Стелленбош, Паарль, Устер (Worcester), Свеллендам, Каледон, Кленвильям, Джордж и Бофорт составляют западную часть, а Альбани, порт Бофорт, Граф-Рейнет, Соммерсет, Кольсберг, Кредок, Уитенхаг (Uitenhage), порт Елизабет, Альберт и, наконец, Виктория – восточную.

С распространением владений колонии англичане постепенно ввели всю систему английского управления. Высшая власть вверена губернатору; но как губернатор в военное время имеет пребывание на границах колонии, то гражданская власть возложена на его помощника или заместника (lieutenant).

Законодательная часть принадлежит так называемому Законодательному совету (Legislative Council), состоящему из пяти официальных и восьми частных членов. Официальные состоят из самого губернатора, потом второго, начальствующего по армии, секретаря колонии, интенданта и казначея.

Остальные выбираются губернатором из лиц колонии. Проект закона вносится дважды в Совет: после первого прочтения он печатается в капштатских ведомостях, после второго принимается или отвергается. В первом случае он представляется на утверждение лондонского министерства. Исполнительною властью заведывает Исполнительный совет (Executive

Council). Это род тайного совета губернатора, который, впрочем, сам не только не подчинен ни тому, ни другому советам, но он может даже пустить предложенный им закон в ход, хотя бы Законодательный совет и не одобрил его, и применять до утверждения английского колониального министра.

Наконец, англичане ввели также свою систему податей и налогов. Может быть, некоторые из последних покажутся преждевременными для молодого, только что формирующегося гражданского общества, но они по большей части оправдываются значительностью издержек, которых требовало и требует содержание и управление колонии и особенно частые и трудные войны с кафрами.

Впрочем, в 1837 году некоторые налоги были отменены, например налог с дохода, с слуг, также с некоторых продуктов. Многие ошибочно думают, что вообще колонии, и в том числе капская, доходами своими обогащают британскую казну; напротив, последняя сама должна была тратить огромные суммы.

Единственная привилегия англичан состоит в том, что они установили по 12% таможенной пошлины с иностранных привозных товаров и по 5% с английских. Но как весь привоз товаров в колонию простирался на сумму около 1 1/2 миллиона фунт. ст., и именно: в 1851 году через Капштат, Саймонстоун, порты Елизабет и Восточный Лондон привезено товаров на 1 277 045 фунт. ст., в 1852 г. на 1 675 686 фунт. ст., а вывезено через те же места в 1851 г. на 637 282, в 1852 г. на 651 483 фунт. ст., и таможенный годовой доход составлял в 1849 г. 84 256, в 1850 г. 102 173 и 1851 г. 111 260 фунт. ст., то нельзя и из этого заключить, чтобы англичане чересчур эгоистически заботились о своих выгодах, особенно если принять в соображение, что большая половина товаров привозится не на английских, а на иностранных судах.

Напротив, судя по расходам, каких требуют разные учреждения, работы и особенно войны с кафрами, надо еще удивляться умеренности налогов. Лучшим доказательством этой умеренности служит то, что колония выдерживает их без всякого отягощения.

Доход колонии незначителен: он не всегда покрывает ее расходы. В 1851 году дохода было 220 884 фунт. ст., а расход составлял 223 115 фунт. ст.

Пошлина, как в Англии, наложена почти на все. Каждый мужчина и женщина, не моложе 16 лет, кроме коронных чиновников и их слуг, платят по 6 шиллингов в год подати. Таксой обложены также дома, экипажи, лошади, хлеб, вода, рынки, аукционы, вина. Все публичные акты подлежат гербовой пошлине. Даже и тот, кто пожелал бы оставить колонию, платит за это право пошлину. Значительный доход получается от продажи казенных земель, особенно в некоторых новых округах, например Виктории и других. Казенные земли приобретаются частными лицами с платою по два шиллинга за акр, считая в моргене два акра. Если принять в соображение, что из этих доходов платится содержание чиновников, проводятся исполнинские дороги через каменистые горы, устраиваются порты, мосты, публичные заведения, церкви, училища и т. п., то окажется, что взимание податей равняется только крайней необходимости. Все пространство, занимаемое колонию, составляет 118 356 кв. миль, а народонаселение простирается до 142 000 душ мужского пола, а всего с женщинами 285 279 душ.

Черных несколькими тысячами более против белых.

Таким образом, со времени владычества англичан приобретены три новые провинции, открыто на восточном берегу три порта: Елизабет, Наталь и Восточный Лондон, построено много фортов, служащих защитой и убежищем от набегов кафров. Далее по всем направлениям колонии проложены и пролагаются вновь шоссе, между портами учреждено пароходство; возникло много новых городов, которых имена приобретают в торговом мире более и более известности. Капштатский рынок каждую субботу наводняется привозимыми изнутри, то сухим путем, на быках, то из порта Елизабет и Восточного Лондона, на судах, товарами для вывоза в разные места. Вывозимые произведения: зерновой хлеб и мука, говядина и свинина, рыба, масло, свечи, кожи (конские и бычачьи), шкуры (козы, овечьи, морских живот-

ных), водка, вина, шерсть, воск, сухие плоды, лошади, мулы, рога, слоновая кость, китовый ус, страусовые перья, алоэ, винный камень и другие. Привозимые товары: кофе, сахар, порох, рис, перец, крепкие напитки, чай, табак, дерево, вина, также рыба, мясо, крупитчатая мука, масло. Все привозные товары обложены различною таможенною пошлиною. До 600 кораблей увозят и привозят все эти товары.

Англичане, по примеру других своих колоний, освободили черных от рабства, несмотря на то что это повело за собой вражду голландских фермеров и что земледелие много пострадало тогда, и страдает еще до сих пор, от уменьшения рук. До 30 000 черных невольников обрабатывали землю, но сделать их добровольными земледельцами не удалось: они работают только для удовлетворения крайних своих потребностей и затем уже ничего не делают.

Успеху англичан, или, лучше сказать, успеху цивилизации, противостоят до сих пор кроме самой природы два враждебные обстоятельства, первое: скрытая, застарелая ненависть голландцев к англичанам как к победителям, к их учреждениям, успехам, торговле, богатству. Ненависть эта передается от отца к сыну вместе с наследством. И хотя между двумя нациями нет открытой вражды, но нет и единодушия, стало быть, и успеха в той мере, в какой бы можно было ожидать его при совокупных действиях. Второе обстоятельство – войны с кафрами. С одной стороны, эти войны оживляют колонию: присутствие войск и сопряженное с тем увеличение потребления разных предметов до некоторой степени усиливает торговое движение. Живущие далеко от границы фермеры радуются войне, потому что скорее и дороже сбывают свои продукты; но, с другой стороны, военные действия, сосредоточивая все внимание колониального правительства на защиту границ, парализуют его действия во многих других отношениях. Множество рук и денег уходит на эти неблагодарные войны, последствия которых в настоящее время не вознаграждают трудов и усилий ничем, кроме неверных, почти бесплодных побед, доставляющих спокойствие краю только на некоторое время.

Кафры, или амакоза, со времени беспокойств 1819 года, вели себя довольно смирно. Хотя и тут не обходилось без набегов и грабежей, которые вели за собой небольшие военные экспедиции в Кафрарию; но эти грабежи и военные стычки с грабителями имели такой частный характер, что вообще можно назвать весь период, от 1819 до 1830 года, если не мирным, то спокойным.

Предводитель одного из главных племен, Гаика, спился и умер; власть его, по обычаю кафров, переходила к сыну главной из жен его. Но как этот сын, по имени Сандилья, был еще ребенок, то племенем управлял старший сын Гаики, Макомо. Он имел пребывание на берегах Кошачьей реки, главного притока Большой Рыбной реки. Хотя этот участок в 1819 году был уступлен при Гаике колонии, но Макомо жил там беспрепятственно до 1829 года, а в этом году положено было его вытеснить, частью по причине грабежей, производимых его племенем, частью за то, что он, воюя с своими дикими соседями, переступал границы колонии. Может быть, к этому присоединились и другие причины, но дело в том, что племя было вытеснено хотя и без кровопролития, но не без сопротивления. На очистившихся местах поселены были мирные готтентоты, обнаружившие склонность к оседлой жизни. Это обстоятельство подало кафрам первый и главный повод к открытой вражде с европейцами, которая усилилась еще более, когда, вскоре после того, англичане расстреляли одного из значительных вождей, дядю Гаики, по имени Секо, оказавшего сопротивление при отнятии европейцами у его племени украденного скота. Смерть этого вождя привела диких в ярость; но они еще сдерживали ее. Макомо, с братом своим Тиали, перешел на берега Чуми, притока реки Кейскаммы, где племя Гаики жило постоянно, с согласия пограничных начальников. Но тут опять возникли жалобы на грабеж скота. Макомо старался взбунтовать готтентотских поселенцев против европейцев и был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем за реку в то время, когда еще хлеб был на корню и племя оставалось без продовольствия.

Английские миссионеры между тем, с своей стороны, как сказано выше, поджигали кафров к разрыву с европейцами, надеясь извлечь из этого свои выгоды. Война была неизбежна и вскоре вспыхнула.

Восстали четыре племени, составлявшие около 34 000 душ одних мужчин.

Европейцы никак не предполагали, чтобы кафры, после испытанных неудач в 1819 г., отважились на открытую войну, поэтому и не приняли никаких мер к отражению нападения, и толпы кафров в декабре 1834 г. ворвались в границы колонии. Войск было так мало на границе, что они не могли противостать диким. Кафры умерщвляли поселенцев, миссионеров, оседлых готтентотов, забирали скот и жгли жилища. Они опустошили всю нынешнюю провинцию Альбани, кроме самого Гремстоуна, часть Винтерберга до моря, всего пространство на 100 миль в длину и около 80 в ширину, избегая, однако же, открытого и общего столкновения с неприятелем. Наконец, узнав, что тогдашний губернатор, сэр Бенджамен д'Урбан, прибыл с значительными силами в Гремстоун, они, в январе 1835 г., удалились в свои места, не забыв унести все награбленное.

Полковники Смит и Соммерсет (первый был потом губернатором) с февраля начали свои действия. Они должны были отыскивать неприятеля в ущельях и кустарниках, почти недоступных для европейца. Некоторые племена покорились тотчас же, объявив себя подданными английской короны и обещая содействовать к прекращению беспорядков на границе, другие отступали далее. Наконец и те, и другие утомились: европейцы – потерей людей, времени и денег, кафры теряли свои места, их отесняли от их деревень, которые были выжигаемы, и потому обе стороны, в сентябре 1835 г., вступили в переговоры и заключили мир, вследствие которого кафры должны были возвратить весь угнанный ими скот и уступить белым значительный участок земли.

До 1846 г. колония была покойна, то есть войны не было; но это опять не значило, чтоб не было грабежей. По мере того как кафры забывали о войне, они делались все смелее; опять поднялись жалобы с границ. Губернатор созвал главных мирных вождей на совещание о средствах к прекращению зла. Вожди, обнаружив неудовольствие на эти грабежи, объявили, однако же, что они не в состоянии отвратить беспорядков. Тогда в марте 1846 г. открылась опять война.

Губернатором был только что поступивший, вместо сэра Джорджа Нэпира, сэр Перегрин Метлэнд. Кафры во множестве вторглись в колонию, по обыкновению убивая колонистов, грабя имущества и сожигая поселения. Эта война особенно богата кровавыми и трагическими эпизодами. Кафры избегали встречи с белыми в открытом поле и, одержав верх в какой-нибудь стычке, быстро скрывались в хорошо известной им стране, среди неприступных ущелий и скал, или, пропустив войска далее вперед, они распространяли ужасы опустошения позади в пределах колонии. Войск было мало; поселенцев приглашали к поголовному ополчению, но без успеха. Кафры являлись в числе многих тысяч, отрезывали подвоз провизии, и войска часто доходили до совершенного истощения сил. Иногда за стакан свежей воды платили по шиллингу, за сухарь – по шести пенсов, и то не всегда находили и то и другое. Негры племени финго, помогавшие англичанам, принуждены были есть свои щиты из буйволово́й кожи, а готтентоты по несколько дней довольствовались тем, что крепко перетягивали себе живот и этим заглушали голод. Ужас был всеобщий, так что в мае 1846 г. по всей колонии служили молебны, прося Бога о помощи. Церкви были битком набиты; множество траурных платьев красноречиво свидетельствовали о том, в каком положении были дела. Метлэнда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности.

В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Поттинджер, а главнокомандующим армии на границе – сэр Джордж Берклей. Давно ощущалась потребность в разъединении гражданской и военной частей, и эта мера вскоре оказала благодетельные действия. Вообще в этой последней войне англичане воспользовались опытами прежней и приняли несколько благоразумных мер к обеспечению своей безопасности и доставки продовольствия. Провиант и прочее достав-

лялось до сих пор на место военных действий сухим путем, и плата за один только провоз составляла около 170 000 фунт. ст. в год, между тем как все припасы могли быть доставляемы морем до самого устья Буйволово́й реки, что наконец и приведено в исполнение, и Берклей у этого устья расположил свою главную квартиру.

Потом запрещен был всякий торг с кафрами как преступление, равное государственной измене, потому что кафры в этом торге – факт, которому с трудом верится, – приобретали от англичан же оружие и порох.

Когда некоторые вожди являлись с покорностью, от них требовали выдачи оружия и скота, но они приносили несколько ружей и приводили вместо тысяч десятки голов скота, и когда их прогоняли, они поневоле возвращались к оружию и с новой яростью нападали на колонию. Так точно поступил Сандилья, которому губернатор обещал прощение, если он исполнит требуемые условия; но он не исполнил и, продолжая тревожить набегами колонию, наконец удалился в неприступные места. Голод принудил его, однако ж, сдаться: он, с некоторыми советниками и вождями, был отправлен в Гремстоун и брошен в тюрьму. Другие вожди удалились с племенами своими в горы, но полковник Соммерсет неумолимо преследовал их и принудил к сдаче.

Между тем губернатор Поттинджер был отозван в Мадрас и место его заступил отличившийся в войне 1834 и 1835 гг. генерал-майор сэръ Герри Смит, приобретший любовь и уважение во всей колонии. Он, по прибытии, созвал пленных кафрских вождей, обошелся с ними презрительно и сурово; одному из них, именно Макомо, велел стать на колени и объявил, что отныне он, Герри Смит, главный и единственный начальник кафров. После чего, положив ногу на голову Макомо, прибавил, что так будет поступать со всеми врагами английской королевы. Вскоре он издал прокламацию, объявляя, что все пространство земли от реки Кейскаммы до реки Кей он, именем королевы, присоединил к английским владениям под названием Британской Кафрарии. И тут же, назначив подполковника Мекиннока начальником этой области, объявил условия, на основании которых кафрские вожди Британской Кафрарии должны вперед управлять своими племенами под влиянием английского владычества.

Когда все вожди и народ, обнаружив совершенную покорность и раскаяние, дали торжественные клятвы свято блюсти обязательства, Герри Смит заключил с ними, в декабре 1847 г., мир. От сурового и презрительного обращения он перешел к кроткому и дружественному. Он уговаривал их сблизиться с европейцами, слушать учение миссионеров, учиться по-английски, заниматься ремеслами, торговать честно, привыкать к употреблению монеты, доказывая им, что все это, и одно только это, то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными.

Энергические и умные меры Смита водворили в колонии мир и оказали благотворное влияние на самих кафров. Они, казалось, убедились в физическом и нравственном превосходстве белых и в невозможности противиться им, смирились и отдались под их опеку. Советы, или, лучше сказать, приказания, Смита исполнялись – но долго ли, вот вопрос! Была ли эта война последнею? К сожалению, нет. Это была только вторая по счету: в 1851 году открылась третья. И кто знает, где остановится эта нумерация?

После этого краткого очерка двух войн нужно ли говорить о третьей, которая кончилась в эпоху прибытия на мыс фрегата «Паллада», то есть в начале 1853 года?

Началась она, как все эти войны, нарушением со стороны кафров обязательств мира и кражею скота. Было несколько случаев, в которых они отказались выдать украденный скот и усиливали дерзкие вылазки на границах.

Вскоре в колонии убедились в необходимости новой войны. Но прежде, нежели англичане подумали о приготовлении к ней, кафры поставили всю Британскую Кафрарию на военную ногу. У них оказалось множество прежнего, не выданного ими, по условию мира 1835 г., оружия, и кроме того, несмотря на строгое запрещение доставки им пороха и оружия, приве-

зено было тайно много и того и другого через Альгоабей. Губернатор стал принимать сильные меры, но не хотел, однако ж, первый начинать неприязненных действий. Он собрал все дружественные племена, уговаривая их поддержать сторону своей государыни, что они и обещали. К сожалению, он чересчур много надеялся на верность черных: и дружественные племена, и учрежденная им полиция из кафров, и, наконец, мирные готтентоты – все это обманывало его, выведывало о числе английских войск и передавало своим одноплеменникам, а те делали засады в таких местах, где английские отряды погибали без всякой пользы.

В декабре 1850 г., за день до праздника Рождества Христова, кафры первые начали войну, заманив англичан в засаду, и после стычки, по обыкновению, ушли в горы. Тогда началась не война, а наказание кафров, которых губернатор объявил уже не врагами Англии, а бунтовщиками, так как они были великобританские подданные.

Поселенцы, по обыкновению, покинули свои места, угнали скот, и кто мог, бежал дальше от границ Кафрарии. Вся пограничная черта представляла одну картину общего движения. Некоторые из фермеров собирались толпами и укреплялись лагерем в поле или избирали убежищем укрепленную ферму.

Бесполезно утомлять ваше внимание рассказом мелких и незанимательных эпизодов этой войны: они чересчур однообразны. Кафры, после нападения на какой-нибудь форт или отряд, одерживали временно верх и потом исчезали в неприступных убежищах. Но английские войска неутомимо преследовали их и принуждали сдаваться или оружием, или голодом. Все это длилось до тех пор, пока у мятежников не истощились военные и съестные припасы. Тогда они явились с повинной головой, согласились на предложенные им условия, и все вошло в прежний порядок.

Кеткарт, заступивший в марте 1852 года Герри Смита, издал, наконец, 2 марта 1853 года в Вильямстоуне, на границе колонии, прокламацию, в которой объявляет, именем своей королевы, мир и прощение Сандильи и народу Гаики, с тем чтобы кафры жили, под ответственностью главного вождя своего, Сандильи, в Британской Кафрарии, но только далее от колониальной границы, на указанных местах. Он должен представить оружие и отвечать за мир и безопасность в его владениях, за доброе поведение гаикского племени и за исполнение взятых им на себя обязательств, также повелений королевы.

Это прощение не простирается, однако ж, за пределы Британской Кафрарии, и всякий, преступивший извне границу колонии, будет предан суду.

Готтентотам тоже не позволено, без особого разрешения губернатора, селиться в Британской Кафрарии.

Выше сказано было, что колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории: действительно оно так. До сих пор колония была не что иное, как английская провинция, живущая по законам, начертанным ей метрополией, сообразно духу последней, а не действительным потребностям страны. Не раз заочные распоряжения лондонского колониального министра противоречили нуждам края и вели за собою местные неудобства и затруднения в делах.

Англичане одни заведовали управлением колонии. Англия назначала губернатора и членов Законодательного совета, так что закон, как объяснено выше, не иначе получал силу, как по утверждении его в Англии. Англичанам было хорошо: они были здесь как у себя дома, но голландцы, и без того недовольные английским владычеством, роптали, требуя для колонии законодательной власти независимо от Англии. Наконец этот ропот подействовал. Англия предоставляет теперь право избрания членов Законодательного совета самой колонии, которая, таким образом, получит самостоятельность в своих действиях, и дальнейшее ее существование может с этой минуты упрочиваться на началах, истекающих из собственных ее нужд. Но вместе с тем на колонию возлагаются и все расходы по управлению, а также предоставляется ей самой распоряжаться военными действиями с дикими племенами.

Событие весьма важное, которое обеспечивает колонии почти независимость и могущественное покровительство Британии. Это событие еще не состоялось вполне; проект представлен в парламент и, конечно, будет утвержден, ибо, вероятно, все приготовления к этому делались с одобрения английского правительства.

Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски «Mitchel», а по-голландски «Clauis-river», по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо его, за ним в дверях показался хозяин, голландец, невысокого роста, с беспечным лицом. «Да зачем же тут останавливаться?» – заметил Посьет, страстный охотник ехать вперед. «Немного отдохнуть и вам, и лошадям», – приятно улыбаясь, отвечал Вандик, отложивший уже лошадей. «Да нам не нужно, мы не устали». Тут я разглядел другого кучера: этот был небольшого роста, с насмешливым и решительным выражением в лице. Я ехал с бароном Крюднером и Зеленым, в другом «карте» сидели Посьет, Вейрих и Гошкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними: обезьяна не обезьяна, но такое же маленькое существо, с таким же маленьким, смуглым лицом, как у обезьяны, одетое в большое пальто и широкую шляпу. Это готтентот, мальчишка, которого зачем-то взял с собой Вандик.

Мы не успели еще расправить хорошенько ног, барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке-негру. Мы занялись рассматриванием комнаты: в ней неизбежные – резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц; вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. Все смотрело так мрачно; позолоченные рамки на зеркалах почернели; везде копоть. На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски, смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и невымытый человек смотрит исподлобья, но ласковым взглядом. Так и в этой, и подобных ей комнатах все приветливо и уютно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями – словом, хозяйством; камин должен быть очень тепел. Не похоже на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да нескоро его и сдвинешь с места; лак и позолота почти совсем сошли; вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно, но это честная и притом гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги: и берут их будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинку, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. «Уже? опять?» – сказал Вейрих, умеренный и скромный наш спутник, немец, – мы завтракали в Капштате». Однако сел и позавтракал с нами.

Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла все по той же болотистой долине. Мы хотя и оставили назади, но не потеряли из виду Столовую и Чертову горы. Вправо тянулись пики, идущие от Констанской горы.

Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее; над ними лежали синие тучи и бегала молния: дождь лил довольно сильный. П. А. Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова: «Не бил барабан перед смутным полком» и т. д. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он был африканец, то есть родился в Африке от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал все в колонии: горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера,

их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляло его страсть и профессию. Это мы скоро узнали.

Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готтентотом, и с англичанином; одному кивал, перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался, а иному что-нибудь кричал, с бранью, грозно.

Дорога шла прекрасная. От Капштата горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в семидесяти стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик придерживал лошадей. «Аппл!» – кричал он по временам. Мы не могли добиться, что это значит: собственное ли имя, или так только, окрик на лошадей, даже в каких случаях употреблял он его; он кричал, когда лошадь пятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался.

Было часов восемь вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому, длинному, одноэтажному каменному зданию с широким, во весь дом, крыльцом. «Что это значит? как? куда?» – «Ужин и ночлег! – кротко, но твердо заметил Вандик. – Лошади устали: мы сегодня двадцать миль сделали». Эта гостиница называется «Фокс анд гоундс» («Fox and hounds»), то есть «Лисица и собаки». «Да что же это? – протестовал, по обыкновению, пылкий Посьет, – это невозможно: поедемте дальше». – «Куда? ведь темно и дождь идет», – возражали ему любители кейфа. «Нужды нет, мы все-таки поедем». – «Зачем? ведь вы едете видеть что-нибудь, путешествуете, так сказать... Что же вы увидите ночью?» Но партия, помещавшаяся в другом карте и называемая нами «ученою», все возражала. Возникли несогласия.

«Артистическая партия», то есть мы трое, вошли на крыльцо, а та упрямо сидела в экипаже. Между тем Вандик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился.

Барон ушел в комнаты, ученая партия нехотя, лениво вылезла из повозки, а я пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место. «Ферст-ривер по-английски или Эршт-ривер (первая река) по-голландски», – отвечал Вандик. Если считать от Капштата, то она действительно первая; но как река вообще она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это. «Где же тут река?» – спросил я Вандика. «А вот, – отвечал он, указывая на то место, где я стоял, – вы теперь стоите в реке: это все река». И он указал на далекое пространство вокруг. «Тут песок да камни», – сказал я. «Теперь нет реки, – продолжал он, – или вон, пожалуй, она в той канаве, а зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие».

Я вошел в дом. Что это, гостиница? не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками, посредине круглый стол, по стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было. Но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната, с длинным столом, еще менее похожая на трактир. На столе лежала Библия и другие книги, рукоделья, тетради и т. п., у стены стояло фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане: мебель новая, все свежо и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра.

Что у него ни спрашивали или что ни приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. «Что ж, будем ужинать, что ли?» – заметил кто-то. «Да я уж заказал», – отвечал барон. «Уже? – заметил Вейрих. – Что ж вы заказали?» – «Так, немного, безделицу: баранины, ветчины, курицу, чай, масла, хлеб и сыр».

После ужина нас повели в другие комнаты, без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью: видно, в них не часто бывали путешественники. По стенам даже ползали не знакомые нам насекомые, не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной

комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но ненадолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неутомный Посьет, взявший на себя роль нашего ментора, ходил по нумерам и торопил вставать и ехать дальше.

По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду мы весело ехали дальше. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смиренно, в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне; они старались выказать, что было у них получше, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце ни золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленою верхушкой или скатом, а у большей части были одинаково выветрившиеся, серые бока, которые разнообразились у одной – рытвиной, у другой – горбом, у третьей – отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южной оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих лесов: они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве да искусственно возделанными садами около ферм, а за границами, кроме редких оазисов, и этого нет. Но в это утро, в половине марта, кусты протеа глядели веселее, зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много «скотства». В самом деле, скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Вандик сидел ясен и свеж, как майский цветок, сказал бы я в северном полушарии, а поздешнему надо сказать – сентябрьский.

Не сживаюсь я с этими противоположностями: все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовятся к зиме, то есть к дождям и ветрам, говорят, что фрукты отошли, кроме винограда, все. Развернул я в книжной лавке, в Капштате, изданный там кипсек – стихи и проза. Развертываю местами и читаю: «Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни; наступали грозные и суровые июльские непогоды» и т. д. А в стихах: «Гнетет ли меня палящее северное солнце, или леденит мою кровь холодное, суровое дуновение южного ветра, я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой».

Далее в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: «Теперь он беден: жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсиновыми деревьями и густою чащей виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же деревьев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый и преданный негр...» Вот она какова, африканская бедность: всякий день свежее молоко, к десерту quatre mendiants прямо с дерева, в услужении негр... Чего бы стоила такая бедность в Петербурге?

Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Капштату или оттуда, с людьми и товарами. Длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно, от шести до двенадцати в каждую фуру, тянулись непрерывною процессией по дороге. Волы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готтентот-кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять направо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда волы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, образуя цугом своим кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами волы неохотно и довольно медленно дают дорогу; в таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик-готтентот, которых во всякой фуре бывает всегда по нескольку, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших, верхами и в фурах, все малайцев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.